

Владимир Тендряков

Собрание сочинений
в пяти томах



МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1989

Владимир Тендряков

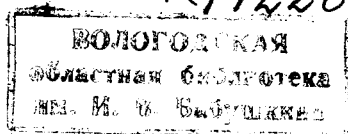
Собрание сочинений
том пятый

Повести
Покушение на миражи
РОМАН



МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1989 К 1122683



Рс
ББК 84Р7

Т33

Р2 + кр

Составление, примечания и подготовка текста
Н. Асмоловой-Тендряковой

Оформление художника
В. Мирошниченко

4702010201—210
Т 028(01)—89 подписное

ISBN 5—280—00158—9 (Т. 5)
ISBN 5—280—00155—4

© Состав. Примечания. Оформление. Издательство «Художественная литература», 1989 г.

Повести

Пусть разгорится сердце твое, и
тело твое, и душа твоя до меня, и до
тела моего, и до виду до моего.
*Берестяная грамота XV в. — древнейшее
русское любовное письмо, дошедшее
до нашего времени*

Затмение

Глава первая

РАССВЕТ

1

«Четвертого июня 1974 года произойдет частное лунное затмение. Оно будет доступно наблюдениям в европейской части и в западных районах азиатской части Советского Союза, кроме местностей, лежащих за Северным Полярным кругом, где Луна в этот день не восходит над горизонтом.

Лунный диск не весь покроется земной тенью — в ней окажется 83% его диаметра. Луна будет находиться в созвездии Змееносца, примерно в 6° северо-восточнее звезды Антарес (α Скорпиона), и пройдет сквозь южную область земной тени».

Она случайно наткнулась на это сообщение и загорелась: за свои неполных двадцать два года еще ни разу не видела лунного затмения. «Хочу видеть!» И она считала бы себя обворованной, если б это «хочу» исполнилось просто, без особых затруднений и препятствий — дождись часа, выйди ночью на балкон, полюбуйся через крыши соседних домов на убывающую Луну. Едва ли не каждое ее желание вырастало в сложную кампанию, требующую подготовки, расчета, самоотверженности со стороны других людей. В последнее время главным образом — моей.

Как можно наблюдать затмение в городе, где дома наполовину заслоняют небо, а уличные фонари назойливо лезут в глаза. «Это все равно что слушать музыку под железнодорожным мостом». Она умела находить обезоруживающие сравнения. Надо ехать за город, и подальше —

в самое что ни на есть необжитое место. А затмение начинается без двадцати минут двенадцать, кончится же почти в три часа ночи! Ее добропорядочные родители — единственная дочь! — должны были прийти в смятение: на всю ночь за город! Нет, нет, они нисколько не сомневались в моей высокой нравственности, но мало ли чего... Был же случай, когда парня и девушку, возвращавшихся поздно из загородной прогулки, столкнули с электрички на полном ходу.

Однако Луна не считалась с благоразумием, затемнялась тогда, когда все нормальные люди засыпают в своих постелях. Родители же, увы, должны были считаться с Майей.

Я часто наблюдал, как где-нибудь на автобусной остановке кто-то бросал скучающий взгляд на Майю — и вздрагивал, и смущался, косился исподтишка, не смея оскорбить ее откровенным, назойливым любопытством. У нее короткие густые, чуть волнистые волосы, очень темные, но не черные, на ярком свете слегка отливающие бронзой. Под ними сумрачные до суровости брови. Лицо же нежно-смуглое, беспокойное, молящее — губы в трагическом изломе, в глазах тревожное неутухающее тление. У меня она вызывала непроходящее щемящее желание успокоить, чтоб исчез трагический излом губ: до чего слабое существо! Но это слабое существо меньше всего хотело покоя. Пожилые, уравновешенные шоферы такси неслись по городу сломя голову потому только, что Майя неизменно им роняла: «Побыстрее, пожалуйста». Однажды ей пришла в голову шальная мысль — взглянуть на город с высоты старой Брандмейстерской башни, откуда в оны времена, еще до революции, дежурные пожарники высматривали городские пожары. И она полезла по отвесной ржавой лестнице вверх, мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Появился разъяренный милиционер, согнал нас, стал грозиться, что отведет в отделение, а кончилось тем, что он сам с нами полез на башню, оставив свой пост на улице.

Она диктатор, которому даже не нужно высказывать своих желаний, о них догадывались, их услужливо исполняли.

Я скоро понял, что трагическая складка губ и непроходящая тревога в ее распахнутых глазах — вовсе не отражение ее душевных переживаний. Просто так устроено ее лицо. Как крепкая от природы нижняя челюсть вызывает часто впечатление волевого характера, как ямоч-

ки на щеках — мягкости и беспечности, так и лицо Майи без ее участия, помимо ее желания молило меня о помощи, и я не имел сил устоять. Давно понял — ничем не обижена, но оберегал от обид, во всем соглашался, был рабом.

Она пожелала видеть лунное затмение без домов и уличных фонарей.

— Знаешь что, поедем...

Я покорно ждал — сейчас оглушит чем-то невероятным.

— ...к Настину омуту!

Ну что ж, это не столь уж невообразимо, могло быть и хуже. Настин омут всего километрах в трех от окраины города, да в сторону от шоссе еще километр. Все-таки не откажешь — она временами не лишена даже какой-то практичности.

2

«Затерялась Русь в Мордве и Чуди...» Наш город на самой окраине Европы, дальше — Урал, за ним Азия. Вокруг русские деревни и села перемешаны с марийскими и татарскими. Каждое селение и до сих пор еще что-то хранит из стародавнего — язык, наряды, обычаи. Издавна здесь у всех была одинакова только нищета.

В прошлом веке наш город, тогда «уездную звериную глушь», завоевал один человек — купец-воротила Курдюков. До сих пор в центре города существуют каменные Курдюковские лабазы, а на обмелевшей реке — Курдюковская пристань.

Он, рассказывают, ходил в мужицкой поддевке, из которой выглядывали белоснежные манжеты с бриллиантовыми запонками, писал каракулями, едва разбирал по печатному, но был опорой местного просвещения — выстроил женскую гимназию, стал ее попечителем. В этой гимназии он заметил девицу редкой красоты, дочь обедневшего дворянчика с немецкой фамилией и русским именем Настасья. Курдюков купил ее у родителей, пообещал царскую жизнь. И слово свое сдержал: за городом выстроил дворец, разбил вокруг него парк, вырыл большой пруд, соединил его с рекой. Прислуга при купеческом дворце была услужлива, добывала все, что только могла пожелать курдюковская царевна. И царевна не выдержала царской жизни, весенней ночью кинулась в глу-

бокий пруд. Курдюков будто бы поджег дворец, бросил свои миллионные дела, ушел в монастырь. Пруд этот давно размыло, он стал заводью реки и называется теперь Настиным омутом. Город год от году надвигается на него, но еще не надвинулся.

Высокий речной берег развален широким оврагом. Пологие склоны этого оврага отягощены тучной черной зеленью. У самой воды в узлах и изломах толстые стволы ив. Какие-то ивы рухнули от старости прямо в омут, их сведенные судорогой ветви торчат над обмершей водой. Вода темна, незыблема, как твердь, и мрачно зеркальна. В ней опрокинутые деревья, рваные вершины уходят куда-то вглубь, в четвертое загадочное измерение. Тяжкая путаная поросль овражного склона, казалось, висит в пространстве между двумя мирами. А ее черная пучина населена — нет, набита! — лягушками, мир застойной воды и мир неба кипят от влажных картавых голосов. Воздух клокочет, трещит, стонет, и в общем вселенском хаосе выделяется один голос. Какой-то активист из активистов упоенно, въедливым сильным тенором убеждает в чем-то несметное лягушачье общество. Без устали, многословно, с напором! И в ответ одни изумленно ухают, другие до изнеможения восторженно захлебываются, третьи крикают увесисто авторитетными басами: «Да! Да! Истинно!» Чьи-то слабенькие, неустоявшиеся голосишки суетно пытаются возражать, взывают негодующим жидким хором и безжалостно давятся не знающим устали тенором. Время от времени рядом с нами — нагнись, достанешь — раздавался умудренный стон, какая-то многоопытная и многоумная лягушка изнемогала, должно быть, от тенористой непрекращающейся болтовни.

Мы стоим на дощатом настиле, обнесенном шаткими перильцами. Мы парим над потусторонним миром, над нами мрачная бездна. А на самой середине выглаженной до зеркальности водяной тверди — пролитое тело Луны. Оно дышит, нервно вздрагивает и поеживается — живет мучительно и беспокойно. Зато сверху на мучающуюся Луну смотрит другая Луна, плоская, чеканная, величаво спокойная. Ей-ей, непохоже, чтоб она собиралась затемняться. Но к ней тянется узкое отточенное, словно лезвие ножа, облако.

Завороженная Майя вполшепота, внятным дыханием произнесла:

Золотую лягушкой луна
Распласталась на тихой воде...

И лягушачий хор вместе с вдохновенным тенором не заглушал ее голоса.

— Вот закроет сейчас золотую, — сказал я с тревогой, указывая на отточенное облако.

Майя подняла к Луне высветенное, туманно-прозрачное лицо, и белки ее глаз сверкнули серебром.

— Не случится. — С тихой убежденностью.

Ее запрокинутое к Луне лицо было столь зыбким — соткано из света! — что я невольно затаил дыхание: шевельнись неосторожно — и растает, исчезнет. Только неподвластное сердце набатно колотилось в ребра, да воздух кипел от влажных лягушачьих голосов, и тенор-докладчик неустанно вещал вселенские проблемы, и корчилась изнеможенно Луна посреди омута.

Глаза ее нет-нет да отсвечивали серебром. Жесткий блеск на туманном лице — даже страшно...

Такой красивой Майю я еще никогда не видел.

3

Кто-то однажды сказал: человеческие взаимоотношения начинаются с отношений между мужчиной и женщиной.

Случайно ли, что понятие «любовь» у разных народов еще в глубокой древности перестало означать изначальное соединение самца и самки, а превратилось в определение самого высокого нравственного состояния. Люблю — лучше относиться я уже не могу, на большую отзывчивость не способен, это мой духовный предел, наивысшее выражение самого себя для других.

И если в последнее время все чаще стали снисходительно сводить любовь к сексу, вновь к самцово-самочью, то я это воспринимаю как опасный симптом человеческой деградации.

Считаю, что я, Павел Крохалев, родился двадцать девять лет тому назад в деревне Полянка для того только, чтоб предельно проявлять себя ради других, а значит, кого-то любить. И моя жизнь до сих пор не что иное, как длительный поиск — кого именно любить и через что? Блуждая среди людей, путаясь и ошибаясь, я в конце концов должен был встретиться с ней — Майей Шкановой.

В наших местах, глубинной Вологодчине, которую обошли стороной железные и шоссейные дороги, сохранился обычай: парень, уходя в армию или на заработки, срубал елочку, а «сговоренная» им девка украшала ее пестрыми лоскутками. Парень влезал на крышу дома сговоренной и прибивал елочку к коньку. Пусть она сохнет и осыпается, пусть выпцвetaют под дождем и солнцем пестрые ленты, пусть ждет и сохнет девица, он вернется к ней. Прибитая к крыше елочка — зарок и обещание перед всем деревенским миром.

Мой отец Алексей Крохалев, уходя на фронт, прибил «зажданную елку» на дом Зинаиды Решетовой. Он вернулся через три года с осколком в легком. Осыпавшаяся, с облетевшими лоскутьями елочка нищенски стояла на крыше. Но стояла, его ждали.

Я был первым послевоенным ребенком в деревне — родился через неделю после отпразднования победы.

Отца не помню. Помню только его похороны на нашем безлесом, сиротливом кладбище. Бабы причитали на разные голоса, мать плакала молча. Теперь я понимаю: она отстрадала за отца раньше, когда ждала день ото дня... Он был давно обречен.

У меня было голодное детство. В колхозе не хватало ни людей, ни лошадей. Моя мать вместе с другими бабами впрягалась в плуг, так на себе они пахали свои усадьбы, по очереди — сегодня у одной, завтра у другой. У моей матери был один сын — не пятеро! — потому-то ей и удалось поставить меня на ноги, выучить.

Удивительней всего, когда я, окончив школу, покинул ее, она не опустилась, не обессилела, а на старости лет нашла вдруг потерянное житейское счастье — сошлась со вдовцом, столяром-колесником, готовившим колхозу сани, телеги, хомуты. У обоих были взрослые дети, оба почему-то считали себя виноватыми перед ними — остаток дней доживают не в сиротстве.

Я учился в первом классе, школа была в соседней деревне, весной приходилось месить грязь по проселку солдатскими башмаками сорок второго размера. Их принес из госпиталя отец и не успел износить. Мне приходилось наматывать по три пары портянок, чтоб не спадали, башмаки от этого становились тяжелыми, как пудовые гири. А уж если на них налипала грязь, то и вовсе неподъемны, через каждые десять шагов останавливался отдыхать.

И вот так я однажды остановился посреди поля, между двумя деревнями и увидел то, что видел каждый день

по несколько раз. Поле в старчески неопрятной прошлогодней стерне, отхлынувшее от меня в маревую даль, сквозной, стеснительно голый березнячок, и за ним, сквозным, — грозовая мутная синь дальних лесов. И в опрокинутом необъятном небе где-то невидимая глазу точка, из которой звенящей родниковой струей плещет вниз песня жаворонка.

Каждый день видел?.. Нет! Стояло всегда перед глазами, а увидел-то только теперь, открыл себе — они есть, это поле, березнячок, грозовые леса. И они были. Еще до того, как я родился на свет, уже стоял березнячок, висело небо и жаворонок обливал землю своей песней. Еще до того... Странно, мир без меня! Невозможно поверить, но мир без меня, наверное, хорошо помнят другие — моя мать, бабушка Хмырина, даже Венко Гузнов, которому скоро стукнет пятнадцать. Без меня цел жаворонок!

Откуда я? Зачем я?.. Извечные вопросы бытия, которые (мог ли я знать) мучают человечество с тех пор, как оно осознало себя.

Впрочем, на один из вопросов — зачем? — я без труда отвечал себе: «Чтобы вырасти большим». Для мальчишки это цель, определенная, не вызывающая сомнений.

Поле, березнячок, дальние леса — от пугающего невинного прошлого, которое легко обходилось без меня, я перебросился в будущее. Оно ясней, оно проще — без меня-то будущее уж никак не обойдется. Можно лишь гадать, кем стану, если вырасту большим. Бригадиром ли, участковым милиционером или же моряком, как Гришка Ногин из Панюкова, — синий воротник, ленточки по спине, широкие штаны, ремень с бляхой. Вот бы!..

И я представил себя таким, как Гришка из Панюкова, высоким и красивым: ленточки, ремень с бляхой, глаз не отвести! Но кто-то должен любоваться мной. Кто-то столь же красивый и загадочный.

Раз я представил себя взрослым — глаз не отвести, — то должен был представить и Ее. Она встретит, увидит меня и...

Светило солнце, весенне умытое, еще не яростное, падала с неба ручейковая песня жаворонка, я стоял посреди грязного проселка в старой, свесившейся ниже колен телогрейке, в неподъемных отцовских башмаках, держа в руке узелок с букварем, и обмирал перед таинством далекой встречи.

Стать моряком — для Нее!

Вырасти большим — для Нее!

Родился на свет, выходит, тоже... для Нее! Для той встречи!

Нет, нет, столь рассудочно и логично я тогда не рассуждал. Я просто обмирал от смутного радостного ожидания...

Ожидания Ее! Еще неизвестной, еще безликой! Адам восьми лет, мечтающий о своей Еве!

Восьми лет, не рано ли?..

Но я рос полусиротой, рядом видел полусиротливую мать, удивительно ли, что — будущее возместит сиротство — стало первой моей надеждой.

Нет таких, кто, забегая мыслью вперед по жизни, рисует себя одиноким, лишенным внимания и любви со стороны людей. Любви всех людей?.. Такую всеобщую, беспредметную любовь представить просто себе нельзя. Каждый, заглядывая вперед, верит (или хочет верить), что там, в мающем далеке, есть некто, тебя ждущий, тебе предназначенный. Он верит в Нее, она — в Него!

И вот, оказывается, среди людей, среди невообразимо великого, что называется человечеством, есть кто-то, от кого ты ждешь внимания и любви, а значит, чувствуешь, со стороны людей нет к тебе равнодушия, сам, в свою очередь, не можешь быть к ним равнодушным. Выходит, что путь к людям идет у Него через Нее, у Нее через Него, не иначе.

4

Вместе с дощатыми мостками мы висели над тем местом, где много лет назад кончила свою недолгую жизнь курдюковская царевна Настя. Кончила жизнь и начала сказку, перешедшую из прошлого столетия в наше.

А берега Настиного омута распирает от картавых, плотски нутряных звуков. Лягушки сбесились. У них уже не один пророк тенор с подпевалами, объявилась, по крайней мере, дюжина пророков-вещателей. Баритоны, басы, суетливые дисканты иступленно схлестнулись друг с другом, и каждого поддерживает хор подпевал. Пророки уже не убеждают, не внушают, а безумствуют. Бурлит и бродит вокруг нас океан неутоленных желаний. И сказка о погибшей Насте — тускла и ничтожна. Что там любая смерть, когда столь мощна страсть к продолжению жизни на земле.

Только одна Луна сверху бесстрашна и холодна. Она — иной мир, чуждый нашему. Но ее мертвый свет, попав к нам, коснувшись воды, судорожится и страдает. На нашей живой планете все должно жить и бесноваться.

У Майи размытое настороженное лицо, волосы заполнены ночью. Майя замерла — удивлена и подавлена.

Я поднял руку к глазам, уловил стрелки на часах.

— А ведь уже началось!

Майя покосилась на Луну — чеканна и величава, ни намека на затемнение.

— Мы запаздываем.

— Кто мы? — удивился я.

— Мы — женщины. И Луна в том числе.

— Представляю, как свихнутся все астрономы мира, да и физики тоже, если она запоздает хоть на минуту.

— Ничего с ними не случится. Подождут.

И я засмеялся.

Майя всегда опаздывала на свидания. Однажды, мне думается, она установила мировой рекорд, опоздав... на шесть часов!

В рабочем поселке Комплексное, километрах в сорока от города, жила Майина подруга. Майя ездила к ней не часто, но по вдохновению, охватывавшему ее внезапно, без всяких видимых причин.

— Ленку давно не видела.

И исчезала на день, иногда на два.

В тот раз была, пожалуй, некоторая побудительная причина — близкий знакомый Леночки из Комплексного, некто Боря Цветик, предложил свозить Майю туда и обратно. Почему бы и не воспользоваться.

Боря Цветик недавно приобрел «Москвич» пожарного цвета. И оба они, как Боря, так и «пожарный» «Москвич», стали источником изустного творчества в кругу Майиных приятелей. «Москвич», например, имел привычку, раз остановившись, уже не двигаться дальше, поэтому сам Боря Цветик не терпел остановок. Был случай, когда он даже предложил своим пассажирам: «Я приторможу, а вы выскакивайте на ходу».

Майя пообещала вернуться утром, назначила свидание на двенадцать часов возле кинотеатра «Радуга».

Стояли февральские морозы. Я протоптался на углу кинотеатра целый час, решил позвонить домой Майе. Мне никто не ответил. Я еще потоптался с полчаса, сно-

ва позвонил, снова не ответили. И в голову лезли картинки — перевернутый вверх колесами «пожарный» «Москвич», машины ГАИ, машины «скорой помощи», носилки... Топтаться на месте я уже не мог, домой идти тоже, я двинулся по городу от одной автоматной будки к другой, меняя на пути мелочь на двухкопеечные монеты. Мне отвечали унылые продолжительные гудки. Отец Майи был в командировке, мать, как потом я узнал, чтобы не скучать одной, уехала на весь день в гости к сестре. И слава богу, иначе я свел бы ее с ума.

Боря Цветик и «пожарный» «Москвич»... Я несколько раз оказывался перед Майиным домом и бежал от него, вливался в поток прохожих, терпеливо и отупело выстаивал в очередях к автоматам. Люди, люди — мимо меня, люди, несущие на лицах озабоченность, свою, ненужную мне, чужую мне. Тесно в городе от людей и — пустыня кругом. Нет страшнее одиночества, чем одиночество среди многолюдья. От автомата к автомату... Каждый раз я с надеждой брался за трубку — надежды рушились.

Боря Цветик со своим «пожарным» «Москвичом»...

Всплыло стихотворение, давным-давно случайно занесенное в память и забытое. Не знаю даже, кто его написал и в какие годы. Какой-то русский эмигрант.

В Константинополе у турка
Валялся пыльный и загаженный
План города Санкт-Петербурга —
В квадратном дюйме триста сажен.
И дрогнули воспоминанья,
И замер шаг, и взор мой влажен:
В моей тоске, как и на плане,—
В квадратном дюйме триста сажен.

Боря Цветик... Надо пойти в милицию, спросить: была ли авария на шоссе между городом и поселком Комплексное?.. Нет! Нет! Быть не может! Я всю жизнь шел к ней, ошибался и путался среди других людей!..

В Константинополе у турка
Валялся пыльный и загаженный
План города Санкт-Петербурга...

Сутолочный день угасал. Я оказался в районе суконной фабрики. Старая фабрика, старый район, который когда-то, во времена владычного купца Курдюкова, был в стороне от города, теперь город с ним слился.

В моей тоске, как и на плане,—
В квадратном дюйме триста сажен.

В тесном подъезде, пахнущем квашеной капустой, я очередной раз снял трубку, набрал номер...

— Алло! — беспечный альт, музыкальный звук, освещающе чистый — из иного мира, не отравленного страхом, покойного и столь далекого сейчас от меня, как город Санкт-Петербург от русского эмигранта на туретчине. — Алло! Я вас слушаю!

— Майка!.. — хриплым выдохом.

— Кто это говорит?

— Я, Майка...

— Павлик! Что у тебя такой голос?

Я уже не мог ни радоваться, ни сердиться. Я шесть часов кружил по городу, я промерз до костей, я с утра не ел — сейчас чувствовал, что с трудом держусь на ногах.

— Ты где, Павлик?

— На сукошной фабрике.

— Как тебя занесло туда?

— Майка... что случилось?

— Ничего. У Ленки пришлось задержаться.

Цветик со своим «пожарным» «Москвичом» был вовсе не виноват. Я слушал далекий ясный Майкин голос и все никак не мог прийти в себя.

В Константинополе у турка
Валялся пыльный...

Тьфу! Привязалось...

Нет, Луна не запаздывала.

— Гляди! — сказал я.

Секундное молчание.

— Ничего не вижу.

— Гляди внимательней!

— Луна как Луна.

— Она не круглая.

— А-а...

Едва заметно на глаз Луна сплюснулась.

Для нетерпеливого рода людского природа слишком медлительна. Что может быть стремительнее взрывов, но звезды в галактиках взрываются многими месяцами, даже годами. И сейчас Луна с тягостной медлительностью вползала в земную тень.

Майя, навалившись на шаткие перильца, остановившимися глазами смотрела на продавливающуюся Луну. На Майю часто находили минуты заторможенности —

цепенеет, смотрит в одну точку, если спросишь, отвечает невпопад, живет в себе. И в такие моменты трагический излом ее губ становится резче, глаза расширяются и гаснут, лицо под тяжелыми волосами, ее тонкое прекрасное лицо утрачивает совершенство, становится чуть-чуть асимметричным. И кажется, от него исходит немотное страдание — за весь мир, за всю вселенную, не меньше.

В первое время нашего знакомства меня эти минуты пугали и подавляли — не смел вздохнуть, заражался вселенской скорбью, благоговел. Но каждый раз Майя обрывала их каким-нибудь простеньким, обидно житейским вопросом:

— Не слышал по радио, будет завтра дождь или нет?

Выходит, всего-навсего она думала о завтрашнем дожде. И все равно я продолжал удивляться ей, сострадать с нею, против воли каждый раз верил, что в ней теснится нешуточное — уж никак не мысли о завтрашнем дожде.

Сейчас вот она заворуженно уставилась на Луну, лицо ее купается в свете, в ее остановившихся глазах вздрагивающие блики, и волосы, откиннутые назад, открывают гладкий, бледно сияющий лоб и резкие густые брови на нем.

Кипели вокруг лягушачьи голоса. В небе совершалось таинство.

Она смахнула ресницами заворуженность, пошевелилась.

— Павел... — голос тих. — Говорят, колено мухи и колено человека похоже устроены.

Поди ж ты угадай, что она вдруг выдаст. Я не отвечал, просто глядел на нее, слушал звук ее голоса и, как всегда, не мог ни наглядеться досыта, ни послушаться.

— Господь бог не изобретателен, Павел. У него не так уж много за душой идей.

— Тебя это огорчает, Майя?

— Радует.

— Почему?

— Потому что он часто должен повторяться.

— Так какая же тебе от этого радость?

Она помолчала и заговорила:

— Вот я стояла, и мне казалось: где-то я уже вот так над рекой... И тоже глядела на Луну, и ждала от Луны чего-то... Где-то в другой жизни, Павел... И ты был рядом.

— Действительно. Он не только повторил тебя и меня, он еще раз свел нас вместе. Спасибо ему.

— Не смейся, я серьезно. Он повторил идею, Павел, старую большую идею, которых у него не так уж много. Если даже простенькую идею колена повторяет и в мухе, и в человеке...

— Пусть так, я еще и еще раз согласен повториться... Вместе с тобой, Майка, только вместе с тобой!

Она могла меня сейчас заставить верить в любое — в невероятную повторяемость жизни, наших судеб и наших встреч, в существование запредельного, в эфемерность смерти и даже в наличие самого господа бога, скудно снабженного идеями.

И сипели, стонали, горланили лягушки, возглашая торжество жизни над смертью. И внизу под нами стыл Настин омут. И мельтешилась на воде пролитая Луна. А на небе с Луной происходило чудо — она медленно, медленно опрокидывалась. Какая-то сила упрямо валила на спину выщербленный месяц.

5

Из нашей деревенской школы я перешел в десятилетку, жил в интернате, по субботам бегал домой из райцентра. Вместе с Капкой Поняевой из соседней деревни Кряковка.

Я знал ее с первого класса — тощая вертлявая девочка, жила в крайней избе, часто выскакивала мне навстречу.

— Здрас-тя! А у нас кошка котяточек народила. Слип-пы-и!

В девятом классе она как-то внезапно выросла и похорошела — бедра обрели крутизну, вместо льняных нечесаных патл, коса по крепкой спине, тугие скулы, зеленые ищущие глаза.

Дважды в неделю мы дружным шагом, плечо в плечо отмахивали по пятнадцати километров — из школы домой, из дому в школу. В сентябре на нашем пути полыхали рябины и березовое мелколесье тлело кроткой желтизной. В мае все кругом было яростно зелено, обмыто и соловьи передавали нас один другому, выламываясь в немыслимых коленцах. Со временем мы все чаще и чаще стали прерывать свой слаженный бег, садились отдыхать — как и шли, плечо в плечо. И я чувствовал ее плечо, упругое, теснящее. А однажды она привалилась ко мне, жаркая, расслабленная, я долго сидел, боялся дышать. Наконец она прошептала с дрожью:

— Обними же, глупый... Покрепче.

Я неумело обнял обжигающее, загадочное, до потери сознания страшное девичье тело.

В августе того же года я уезжал поступать в институт. Я срубил молодую елочку и принес Капе, она украсила ее пестрыми лоскутками, белыми, голубыми, красными. Среди бела дня, на глазах всей деревни Кряковки я залез на Капкину крышу и прибил разнаряженную елочку к коньку. Как отец матери — зажданную. Клятва — добыюсь своего и вернусь, жди!

Капка Поняева не прождала и года, выскочила замуж за лейтенанта, проводившего отпуск в Кряковке, уехала с ним куда-то под Читу.

А я жил в городе, который тоже был далек от моих родных мест. И моей постоянной дорогой стал старый Глуховский бульвар, соединявший наш институт с городской публичной библиотекой. Поздними вечерами я возвращался из библиотеки, ветерок блуждал в тесной листве, фонари бросали под ноги узорную тень, на скамейках, подальше от фонарей, целовались парочки, и где-то в середине бульвара заливался соловей. Его песня издалека встречала меня, а потом долго провожала. Только один соловей и жил в центре города. Один, но упрямый, неизменно провозглашавший о себе каждую весну. Я не знаю, как долгод соловьиный век, но и теперь, как много лет назад, соловьиная песня звучит на том же месте. Должно быть, внук или правнук того, кто смущал меня в студенческие годы. А две последние весны я слушал его уже вместе с Майей.

Пел соловей, напоминал мне тех, что выламывались в замысловатых коленцах для нас с Капой. «Обними же, глупый...»

Я ее не осуждал: дедовские обычаи обветшали, ждать шесть лет, когда я кончу учиться, — непосильный подвиг для девчонки, которая не представляет иного счастья, как основать семью, стать матерью. Да я и сам уж не столь был уверен — тот ли человек Капка, какой мне нужен, тоже ведь мог нарушить клятву.

Мне тогда было жаль прошлого, завидовал целующимся парочкам и чувствовал себя потерянно одиноким. Люди кругом, люди на каждом шагу, не замечающие меня. Я среди них словно человек-невидимка! А как это тяжело — невидимка! Нечто бесплотное среди нормально живых.

Нет, я не чувствовал тогда себя ненужным. Напротив,

весьма самоуверенно считал — призван совершить великое открытие, человечество ждет от меня подвига. Были наставники, которых уважал, были товарищи, в преданности которых не сомневался, но не было такого, кому мог бы сказать: люблю! Среди людей не существовало ближайшего.

И тут-то родилась вера — встречу! Я не мог бы описать, какая Она, как выглядит, но был твердо убежден — сразу узнаю Ее. Я ждал встречи и жадно приглядывался, часто видел красивых, но ни одна не походила на Ту...

Шли годы, а все не находил Ее — не встречалась. Я начал тихо отчаиваться — гонюсь за каким-то миражем, сочинил себе миф.

И было библиотечное знакомство — некая Леночка Совкина, остроносая, светлая, легко заливающаяся смущенным румянцем. Однако ее смущение не мешало нам целоваться в темных уголках Глуховского бульвара.

Потом возле меня появилась Шура Горелик, студентка с почвоведческого факультета, плотно сбитая, с бровями, сросшимися у переносицы, с чистыми, честными, широко расставленными глазами, человек твердых взглядов и целеустремленного характера. Она не позволяла мне целовать ее на бульваре, а наши встречи со свойственной ей прямоотой и серьезностью воспринимала как первый шаг к женитьбе. Право, я даже временами подумывал: это не так уж и плохо для меня. Шура — надежная опора, в минуты отчаяния ободрит, в минуты увлечения охладит, с такой не пропадешь...

Но тут наконец произошло то, чего я так долго ждал. Я встретил Ту...

В автобусной толкучке стояла женщина, я нечаянно наткнулся на нее взглядом и содрогнулся — широкие брови, дремотный взгляд из-под припущенных ресниц, четкий рисунок губ и тяжелый пучок волос на затылке. Она была меня явно старше, уже зрелая женщина, не девчонка, но все равно Та! И чем больше украдкой я приглядывался к ней, тем сильнее убеждался — Она, никаких сомнений. Меня бросило в испарину и охватило отчаяние.

Сейчас Она двинется к выходу, кинет на меня скользящий, равнодушный взгляд из-под пушистых ресниц... исчезнет. Она, о которой я впервые задумался в далеком детстве, там, на грязном проселке посреди весеннего неопрытанного поля, мальчишкой в солдатских ботинках, на изношенных отцом, Она, которую в последние годы я ждал каждый день. Казалось, стоит только встретить, и

произойдет счастье — великое и единственное в моей жизни. Я узнаю Ее, Она меня, и тут уж ничто не сможет нам помешать, никакие силы.

Я-то узнал, но Она меня узнавать не собиралась, терпеливо сносила автобусную тесноту, рассеянно глядела мимо, мимо такими знакомыми, вымечтанными глазами. И с каждой минутой, с каждой секундой, с каждым поворотом автобусного колеса приближается остановка, на которой Она сойдет. И исчезнет. И будешь ты знать — Она не миф, не мираж, созданный твоим воображением. Будешь жить и казнить, чувствовать себя вечным несчастливцем. Жить просто так, никого не любя, жить с равнодушием, по привычке, по инерции, лететь в невнятное нечто, словно пуля, миновавшая цель. Я чувствовал: в эти минуты совершается промах, обесмысливающий все мое существование.

Она двинулась к выходу, я посторонился. Она скользнула по моему лицу невидящим, далеким, направленным внутрь себя взглядом из-под пушистых ресниц.

Она сошла на Театральной площади, я выскочил следом. Среднего роста, чуточку плотная, модная дубленка обтягивает покатые плечи и крепкую тонкую талию, походка неторопливая, с горделивым достоинством, несколько тяжеловатая и медлительная. Родственно знакома!

Родственна!.. Как разъединены люди друг с другом! Какие непроходимые овраги лежат между нами. Попробуй продерись через заросли суетных понятий приличия, возведенных в законы условностей, сквозь врожденное недоверие — встречный не может быть другом, будь с ним начеку, не доверяй. Нет простой и легкой дороги от человека к человеку. Каждый из нас — крепость с поднятыми мостами.

Я шел за спиной незнакомки в десяти шагах и судорожно решал, как подступить. Надо сказать все, выплеснуть из души: «Вы та самая, какую я искал всю свою сознательную жизнь. Та единственная, неповторимая, одна из тех многих и многих тысяч, которые когда-либо встречались мне в жизни. Второй такой нет и быть не может! Встретить единственную можно лишь раз в жизни, другого случая не представится. Не смейте его пропустить! Остановитесь, не проходите мимо того счастливого чуда, которое подарено мне и Вам!..» Выплеснуть из души, а она... она примет меня за сумасшедшего.

И еще меня дико смущало житейски суетное — на ее плечах дорогая, модная дубленка, она, должно быть, из-

балована достатком, а я студент, я предстану перед ней в потасканном осеннем пальтишке. У завоевателя слишком жалкий вид, чтоб рассчитывать на победу.

Пока я панически колебался, к незнакомке подошли. Это был монументальный мужчина, вложенный в монументальное пальто, с крупным выглаженным лицом, на котором с самого рождения отпечатано выражение самоуверенности. Он небрежно тронул перчаткой шляпу и взял незнакомку под локоть. И увел ее от меня. Навсегда.

Странно, она совсем не походила на Майю. Ничего общего.

Теперь мне чуть-чуть стыдно своего мальчишества, давно уже не жалею, что встречи не получилось, больше того, считаю удачей — прошла мимо, оставила меня убитым, опустошенным, но свободным. И все-таки вспоминаю ее благодарно. Да будет счастлива она в жизни! Мне почему-то радостно, что такая женщина живет на свете. Да, да, радостно без всякой корысти. И безболезненно.

Я уже кончил аспирантуру, когда в институте появилась Зульфия Козлова. Ее экзотическое имя и посконная фамилия совмещались не случайно — кровь потомков Тамерлана была перемешана в ней с мужицкой кровью тверичей. Две темные косы, большие бархатистые глаза, смуглое, со стремительным профилем лицо, не вязавшееся с ленивой заторможенностью движений. От ее полнющей, мягкой фигуры веяло покоем. Однако этот покой обманчив. Зульфия была хронически больна неустроенностью. Она блестяще кончила один из столичных институтов, сумела быстро защитить кандидатскую, и тут началась ее невеселая одиссея — из одного учебного заведения в другое, всюду, по ее выражению, она натывалась на «замшелые авторитеты». Мимоходом она успела трижды побывать замужем и трижды развестись. Душевная неустроенность пригнала ее к нам, думается, она заставит кочевать ее до старости, искать и не находить, вечно бегать от самой себя.

Началось у нас с ее поучений. Поджав под себя ногу, выставив крепкое колено, она, обволакивая меня бархатистым взглядом, лениво рассуждала:

— Человек создан для счастья, как птица для полета. Нет ничего пошлей этой птичьей фразы. Мы разумны, значит, способны видеть впереди опасности, а значит, не можем бесечно наслаждаться настоящим. Человек, мой

милый, самой природой обречен жить в вечной тревоге, не создан для счастья. Нет...

Я оказался для нее единственно близким, мне без нее тоже было пустынно и неуютно. Пожалуй, она даже победила Ту, вымечтанную. Я все больше и больше заражался ее ленивым примиренчеством перед неизбежным. Все чаще и чаще стал задумываться: не гонялся ли я за призраками? Незнакомка — не призрак. Да, она просто красивая женщина, наверно, редкостно красивая, если так смутила тебя. Но оглянись на себя — редкостных ли ты сам качеств? Почему тебе, заурядному, судьба должна подарить из ряда вон, исключительное? Не блажи, принимай то хорошее, что есть, умей радоваться.

Я забывал, что Зульфия только проповедовала смиренность — ленивым голосом, бархатно-кротким взглядом, — а сама жила не смиренно, не могла принять, что ей предлагала судьба, предпочитала неприкаянность.

Я навряд ли бы смог сделать Зульфию счастливой. Скорей всего появилась бы другая, не схожая с Той, не мифическая — нормальная.

А невероятное было уже близко.

6

Заваливался на спину месяц. Лягушки кричали влажно-картавыми голосами — скрип, бульканье, надсадное кряканье, изнемогающие стоны. Воздух рыдающе звенит. Лягушки?.. Да они ли кричат? Не сама ли наша планета этой глухой странной ночью заговорила вдруг с прорвавшейся страстью? Гибнет в небе светило, Земля не может оставаться равнодушной. Она должна страдать и негодовать.

Моя рука лежит на прохладной руке Майи, греет ее. Рука на руке — жест доверчивости, жест достигнутой близости.

С рюкзаком за спиной и бумагой в кармане, в которой говорилось, что районные и колхозные руководители должны оказывать мне, научному сотруднику Института почвоведения и агрохимии, помощь, я время от времени бродил по полям области.

Современное земледелие, пользующееся химическими удобрениями и химической защитой от вредителей, дав-

по уже вызывало тревогу у моего научного руководителя. У меня тоже. И мы оба хотели, чтобы этой тревогой прониклись все, в том числе и руководство областью.

В тот раз пришлось выехать осенью, чтобы взять пробы воды в известном по области Чермуховском озере и втекающих в него многочисленных речках. Эти пробы должны были показать, насколько повысилось химическое загрязнение вод за один только сезон — прошедшие весну и лето.

В селе Ступнино обычно я брал для себя помощника, двенадцатилетнего смышленного парнишку Петю Бочкова, но тот уехал к старшему брату, и бригадир привел мне сразу троих девиц. Трех студенток областного пединститута, посланных сюда «на картошку».

И вот пасмурным вечером в селе Ступнино возле затопленного крыльца бригадного дома я впервые увидел Майю. Ее горький изгиб губ, ее всполошенно темные, с невинной мольбой глаза, толстый платок на голове скрывал ее волосы...

Та, исчезнувшая незнакомка, самой природой создана, должно быть, госпожой — женщиной, сознающая свою власть. Я сразу, при первом же взгляде на нее почувствовал себя рабом, безвольным и обезличенным. Сейчас передо мной стояла девочка с горестными губами, молящими, заранее благодарными глазами — воплощение слабости и доверчивости. Не мог же я знать тогда, что всего этого нет — обман природы, но беспроегрышный, покоряющий. У меня сразу же защемило в груди от самозабвенного желания помочь, защитить, совершить что-то сверхдоброе, жертвенное, что-то столь необычное, чтоб исчезла с губ горькая складка. И сразу же я почувствовал себя сильным, дерзким, способным на подвиг.

Исчезнувшая незнакомка! Да будет жизнь твоя радостна! Хорошо, что такие, как ты, живут на свете. Но как ты, госпожа, повелевающая богиня, потускнела перед Майей — груба, тяжеловесна, плотски бесхитростна. Твоя власть безобидна и бессильна по сравнению с тем, что дано Майе: видимостью беззащитности вызывать отвагу, доверчивостью — самозабвение, обманчивой горестностью — истощенную жажду добра.

С Майей были еще две девушки, Галя и Оля, одна полная, добродушная, курносая, другая — худенькая брюнеточка, остроглазая и бойкая на язычок.

Мы вчетвером три дня лазили по берегам Чермухов-

ского озера, навешали устья ручьев и маленьких речек, на ночь возвращались в Ступнино.

Была обычная осенняя погода с тусклым низким небом, временами сеявшим мелким дождем. И озеро лежало свинцовое, неуютливое. И каждый куст встречал нас недружелюбно — обдавал холодной водой. Но я находился в красочном, поразительном мире, где воздух, емкий и насыщенный, можно было видеть, где мокрая земля с облетающей порослью казалась просторнее и обширнее обычной, и я по ней бродил в возвышенно-тревожном настроении. Бродил и всему удивлялся: тому, что застенчивый ствол осины травянисто зелен, что тесовые крыши изб стального звонкого цвета, что тоскливое небо над нами вовсе не тоскливо — не плоско, а глубинно, созвучно с дымчатыми лесами, и переполненное свинцовой водой озеро поражало меня своей мощью. На каждом шагу опараживающие открытия. Я словно снова впал в детство, стал тем парнишкой, который донашивал не доношенные отцом солдатские башмаки, застывая в изумлении перед сквозным березняком и полем в неопрятной стерне.

И какие счастливые минуты наступали, когда разгорался костер, а я устилал мокрую траву лапником, усаживал своих гостей.

И разогретая на костре, пахнувшая дымом тушенка с черным хлебом была так вкусна, что судорогой сводило челюсти.

И как не хотелось нам, насквозь вымокшим, падавшим с ног от усталости, возвращаясь в село, расставаться друг с другом.

А однажды мы не нашли ни лавы, ни поваленного дерева, чтобы перебраться через очередной ручей, и я перенес по очереди всех троих на тот берег на руках. И Майю тоже. Она обняла меня за шею, я слышал на своей щеке ее дыхание. А когда я опустил ее на землю, она, сияя глазами, тронув в смущенной улыбочке изломанные губы, сказала:

— Как-кой вы сильный!

Да, я был сильным, я был добрым. И мне все нравилось. Нравились девочки, все трое, и неуклюжая Галя, и бойкая, легкая на ногу Оля. Я им тоже нравился, насколько не сомневаюсь.

Каждый человек — крепость с поднятыми мостами. Ерунда! Мосты так легко падают — входи! Таким хорошим, таким легким и свободным человеком я еще ни разу не чувствовал себя в жизни. И не моя в том вина.

Нет, я не смог добиться, чтобы с Майиных губ исчез горький излом. Я уже тогда понял — это врожденное. Никогда не добьюсь, но буду вечно желать этого. Вечно, если даже ее и не будет рядом.

На третьи сутки вечером я устроил маленький прощальный праздник — бутылка красного вина для девочек, бутылка водки для себя и для хозяйина дома, где я жил. Однако девочки пили вместе с нами водку и веселились. Толстая Галя всплакнула. Майя предложила выпить за встречу в городе. Все трое тут же мне дали свои адреса и телефоны, я — свои всем троицам.

На следующее утро они меня провожали. И снова толстая Галя всплакнула, а у Майи страдальчески тлели глаза, изгиб ее губ, уже до боли родной, — немотный крик.

А в городе, издалека все стало для меня выглядеть поининому. Я начал люто казнить. Эти девочки несколько месяцев тому назад сидели еще на школьной парте. А я готовился к защите кандидатской, преподавал таким вот желторотым студенткам, и женщина бальзаковского возраста — если уж выражаться и дальше по-книжному — дарит меня своей любовью, значит, признает равным себе. Я почти что другое поколение... Реакция пострадавшего от жары и замешкавшегося на берегу в испуге перед холодной водой.

Майя первая позвонила мне в институт. Раньше Оли и раньше Гали. Я еще не понял тогда, что она вовсе не беззащитна и робка, а решительный человек, куда решительней своих подруг. И меня тоже.

Мы стали часто встречаться.

И только спустя полтора года я осмелился положить свою руку на руку ее. Это случилось самым тривиальным образом — в кинотеатре «Радуга».

Сейчас моя рука греет ее прохладную руку. Лягушачьими голосами ропщет планета. В небе под незримым натиском медленно, медленно падает на горбатую спину месяц.

7

Наконец он совсем лег на горб, беспомощно, рогами вверх. В таком положении еще никогда не приходилось видеть Луну, даже на картинках.

— Вот оно... — сказал я. — Затмение.

Пришла та самая, обещанная календарями «наибольшая фаза», когда 83 процента всей Луны закрыто набе-

жавшей тенью. Календари лишь забыли предупредить, как выглядит эта фаза — рогами вверх!

Майя вздрогнула и сжала мою руку — изломаны брови и губы, глаза круглы, в них страх.

— Гляди... — срывающимся шепотом. — Он улыбается!

— Кто?

— Не знаю... Он!

И тут только я увидел — над знакомым миром, над стынувшей смолистой заводью, поигрывающей уже жалким расплавленным золотым клочком, над висящей лохматой, беспросветно черной громадой заросшего берега, где деревья растут и вверх к небесам и внутрь, в глубь земли растрепанными вершинами, над нашим мостиком, парящим над бездоньем, висела... улыбка! Просто улыбка сама по себе, без лица, без хозяина.

Казалось, даже лягушки чуть попритихли, влажные, булькающие и картавые голоса — клочьями, островками.

— Как клоун, — выдавила из себя Майя.

Улыбка на небе, улыбка мироздания или кого-то в нем, вездесущего и невидимого. Его самого нет, он послал только свою улыбку, неподвижную, плоскую, вовсе не веселящую.

— Как клоун... Только Он очень, очень устал, Павел.

— Он... Может, на колени нам опуститься, Майка?

— Нет, ты приглядишься!

Приглядываться нужды не было: плоский, словно крашенный, клоунский рот на небе, в нем и впрямь чувствовалась усталая горечь и еще, пожалуй... холодная, жуткая жалость ко всему, что внизу. К нам, стоящим на скрипучих мостках, к кричащим лягушкам... Для этой всевышней улыбки как мы с Майей, так и лягушки одинаково малы и ничтожны.

Майя жадно озиралась.

— Павел! — ее сдавленный голос зазвенел. — Все ненастоящее, Павел. Все, все кругом! И омут, и берега, и лес на нем! Временное, случайное!..

— И ты ненастоящая? Это уже мне обидно, — я хотел свести на шутку.

— И я, и ты! Мы, наверное, и есть самое ненастоящее. Наш миг короче всех, Павел! Он это знает. Он улыбается!

— Ну не короче же лягушачьего, Майя.

— Утешаешься? Чем? Что наш век длинней лягушачьего! — Майя тянулась вверх, к небесной застывшей улыбке, лицо бледно, кричащие брови, сведенный рот, она даже перестала быть красивой. — Во-он!.. — Она вскинула тон-

кую руку. — Вон там плывет бесконечное время, несет галактики. И в этом бесконечном крохотный просвет, волоссяной, микроскопический — это моя жизнь! Я появилась на свет, чтоб увидеть, как проблеснет надо мной мир. И снова в небытие, и снова пустота — и уже навсегда. Я пытаюсь, пытаюсь обманывать себя, выдумываю, что когда-то повторюсь, что Он не изобретателен — колено мухи и колено человека... А он смеется, Павел. Он-то знает, что у меня впереди только одно ничто. Вынырнула из этого ничто, в нем и утону. И еще радуюсь, что живу, цепляюсь за свой волоссяной век, недоумеваю, как можно с ним расстаться. Вот эта Настя... лет сто тому назад здесь... А если бы она тогда не бросилась в этот омут, что бы изменилось? Да ничего, все равно бы исчезла, как исчезли все, все без исключения, что вместе с ней жили. Не бывало еще такого удачника, который бы обманул время... И как Ему — Ему! — не жалеть нас. Не смерти боюсь, нет! Нелепости! Зачем я, к чему я? Кому нужно мое мелькание на свете? Брошусь вот сейчас в воду или не брошусь — да велика ли разница, чуть-чуть тоньше станет волосок просвета...

— Майка! — Я схватил ее за руку, рывком повернул ее к себе — искаженное лицо с налитыми страхом глазами. — Ты чем меряешь время, Майка? Секундами, минутами, веками! А они одинаковы, эти секунды и века? Улыбается, жалеет... Это Луна-то нас жалеет? Очнись, Майка! Сколько там Луна существует — четыре, пять миллиардов лет. Не волоссяной просвет — вообразить нельзя. Только что там за эту невообразимость произошло? Да ничего — чуть больше оспин стало на ее роже. Проходят миллионы лет за миллионами, а ничего не случается, ничего не меняется. А вот двадцать два года назад — только двадцать два! — тебя не было совсем. Ты появилась, выросла, в тебе каждую секунду что-то меняется, отмирают одни клетки, рождаются другие, и мысли возникают, и эвон... страсти кипят. Твоя секунда, Майка, куда вместительней десяти лунных тысячелетий. Волоссяной век? Да ты сейчас добрых три минуты завывала на Луну — свои три минуты, сто восемьдесят секунд! Тысячу восьмисот лунных тысячелетий! Так кто из вас больше прожил — ты или Луна?..

Майя слушала — русалочьи голубой лик, обжигающие глаза. И кричали лягушки, и висела над миром приклеенная без лица улыбка.

— Вместительные секунды... — тихо произнесла Майя,

неспокойно вглядываясь в омут с опрокинутыми деревьями. — И у Насти тоже?.. Да нет, должно, так пусты были, что в воду бросились.

— А может, наоборот? — возразил я. — Чувствовала, что непрожитое время могло бы стать слишком заполненным...

— Тогда зачем же она его в омут? — удивилась Майя.

— А оно уже ей не принадлежало — купец купил за дешево. Чужое, не свое выбрасывала.

Майя с сомнением покачала головой.

— Она все равно бы кому-то подарила непрожитое время — другому человеку, детям, может, и вовсе незнакомым людям, работая на них. Значит, так и так не свое, чужое.

— Важно же не просто отдать, важно — кому и за что. Купчина, должно, не стоил Настиного.

— Кому и за что... Ты знаешь?

— В общем-то, знаю.

— А я... двадцать один год мельтешу на свете и все еще не знаю, кому нужна, на что пригодна. Одни какие-то желания, в которых и сама не разберусь.

— Ты мне нужна, Майка!

Она с горечью усмехнулась.

— Нужна... Если б тебе такое сказали, радовался бы?.. Нет, каждому хочется не одного осчастливить, а хоть какой-нибудь перпетуум-мобиле подарить людям.

— Ты и подаришь, Майка.

— Как?

— Изменив меня... Ты разве не замечала, что рядом с тобой люди меняются.

— Замечала — гарцевать вокруг начинают.

— Уж не считаешь ли, что и я гарцую?

— Ты исключение, Павел. Как раз в тебе-то я никаких перемен и не заметила.

— Я, Майка, рядом с тобой начинаю видеть сквозь степи. Рядом с тобой я уже сам страшусь своей силы, готов опрокинуть горы, сорвать Луну с неба, открыть живую воду... И перпетуум-мобиле тоже изобрести могу!

— Вот если бы меня заразил этим.

— Да как можно заразить того, от кого идет благородная зараза? Ты катализатор, Майка. Катализатор в реакциях не участвует, он их ускоряет. И не думай, что такие люди — второй сорт. Совсем наоборот! «Природа-мать! когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни!» Может, нива жизни совсем бы и не

заглохла, но то, что без людей-катализаторов мы до сих пор скребли бы свои поля сохой, передвигались бы на волах с колесным скрипом,— это уж точно.

Майя молчала, смотрела вниз, но ее голубые до прозрачности веки, таящие влажный мрак глаз, подрагивали.

— Май-ка! Если рядом тебя не будет, я увяну, усохну, стану тупым, слабым, безвольным. Меня жуть берет, Майка, если подумаю, что ты не меня, а кого-то другого — сильным и счастливым... Не я, а кто-то другой рядом с тобой — перпетуум-мобиле... Майка! Я мечтал, но не очень-то верил, что такое чудо со мной случится. Случилось. И уж без чуда я теперь жить не могу! Ты слышишь, Майка, что такое ты для меня?

Майя пошевелилась, смятенно оглянулась направо, налево, словно стараясь запомнить все, что нас окружало, решительно выдохнула:

— Пошли.

И первая двинулась с мостков на берег. Я двинулся за ней, словно на привязи.

На берегу она задержалась, повернула лицо к Луне. Окруженное впитавшими ночной мрак волосами, нежно светящееся узкое лицо с тревожной складкой рта и мерцающими глазами выражало затаенную решимость.

По-прежнему над землей, над рекой, обмершей и бурлящей лягушачьими голосами, висела вселенская улыбка, заливала всепроникающей — до дна души, под корни трав — печалью.

8

Я родился от приговоренного к смерти отца, носившего в легком осколок снаряда. Я родился на свет спустя неделю после того, как в Европе умолкли пушки. Мне было всего несколько месяцев, когда над Хиросимой взорвалась атомная бомба. В нашей избе стоял тошнотно-сладковатый запах лепешек из травы. Они походили на навозные коровьи лепехи, их ела мать, для меня она правдами и неправдами сберегала чистый хлебушко. А Васька Ключин, парнишка-сосед, на год младше меня, умер с голоду на исходе зимы.

В двенадцать лет я услышал: запущен первый искусственный спутник. В четырнадцать — ракета впервые достигла Луны. В шестнадцать — Юрий Гагарин, первый из людей, побывал в космосе. К этому времени я уже глотал научно-фантастические повести и научно-популярные кни-

ги, знал, что такое «парадокс близнецов», слышал и сам произносил имя Эйнштейна.

Война и голод, космические головокружительные полеты и гуляющий по миру страх перед атомными и водородными бомбами, возможное и невозможное, перепутанное в сознании. Даже мужики на завалинке, чадя махоркой, рассуждали о гибельной сущности стронция:

— Бабы и те от него лысеют, и кровь — как моча.

Я не был самым лучшим в школе учеником, но твердо знал, что поступлю в институт, стану ученым. Я мальчишески самонадеянно верил — сделаю в жизни что-то большое, столь нужное людям, что мне будут ставить памятники после смерти, а деревня Полянка станет известна миру: здесь родился великий человек!

С годами мир вокруг меня сильно разросся, а я изрядно измельчал в своих глазах — великий, где уж! — но честолюбивое желание сделать нечто всеобщее полезное, пусть уж не такое большое, продолжало во мне жить.

Мир разросся для меня — и раскрылся. Я начал видеть в нем не только те опасности, о которых озабоченно говорили даже мужики на завалинке. Заводская труба, выплескивающая промышленные отходы, не менее страшна, чем ракеты с термоядерными боеголовками. Уже теперь раздаются голоса: «Наш воздух загрязнен, наши реки отравлены, наши земли истощены!» Зеленые луга, речные излучины, леса в голубой дымке — красив светлый мир вокруг! Его закоптят, задушат, запакосят... Кто в наш век не отравлен страхом за грядущее?..

Отравлен и я. Был! И совсем недавно.

Но вот Майя... Я люблю! А можно ли любить и не испытывать надежды? Я люблю — я надеюсь, а значит, не в состоянии жить отравленным. Я люблю, чувствую в себе взрывные силы, могу видеть сквозь стены, могу изобрести невозможное — перпетуум-мобиле, не удавшееся другим! И спасение мира мне по плечу, потому что люблю, потому что хочу столь страстно, столь неистово жить, что всякая мысль о гибели кого бы то и чего бы то ни было для меня просто неприемлема!

Майи встречаются и другим, не один я люблю, не один я чувствую — способен на невозможное! — моя животворная мощь не исключительна, не редкость, а обычна для мира сего!

Пока на свете рождаются Майи, жизнь не перестанет цвести. Несущие в себе любовь, они-то и есть истинные спасители человечества!

Мы уходим от поверженной — рогами вверх — Луны.
Майя замкнута, Майя молчит.

9

Нам везло в эту ночь — в самое глухое время суток на самой окраине города на нас выехало такси. Не надо тащиться пешком через весь город.

— На Конармейскую улицу, — сказал я шоферу, усаживаясь.

— Нет! — резко отозвалась Майя. — На Менделеева, двадцать три... Я теперь там живу.

На Менделеева, двадцать три жил я.

Сонный ночной шофер молча тронул с места машину.

Медленно и устало расстегивая плащ, она оглядывалась: железная койка, простой стол, книжная полка, пара стульев, на пустой стене одиноко небольшая репродукция — этюд Грабаря «Рябинка», кусочек пестрой, хохочущей осени.

Моя келья с выходом на балкон. Сама комната столь мала, что кажется несущественным приложением к коридорчику, прихожей, ванной и кухне. Я только год назад получил квартиру, пусть самую маленькую, какая может быть, но отдельную. Почти вся моя жизнь прошла по общежитиям — школьное общежитие при десятилетке в райцентре, студенческое общежитие на четыре койки, аспирантское... И вот четырнадцать квадратных метров, обнесенных стенами, накрытых крышею, со всеми положенными удобствами, за исключением телефона.

Майино лицо с яркими бровями не выражало ничего, кроме врожденной скорби, глаза с безразличием скользили по стенам мимо хохочущей рябинки, остановились на балконной двери, которая одновременно служила и окном.

— Задержи. Пусть даже Луна не заглядывает к нам.

Она уронила на пол плащ, ушла в ванную комнату. Со вскинутой головой, в узкой гибкой спине незнакомая мне натянутость, походка вздрагивающая, насильственная, каждый шаг — натужный толчок.

Она вышла, а я заметался: поднял плащ, кинул на стул, бросился к балконному окну, тут же сбил стул с

плащом, сел растерянно за стол, вскочил и застыл посреди комнаты.

Она здесь, она за стеной. И сейчас, сейчас вот появится. Уже не такой, какой я ее знаю, ипою!.. «Можешь считать, выхожу за тебя замуж». Эти слова она произнесла с сумрачной решительностью вниз, в подъезде, повесив трубку телефона-автомата, скупно предупредив родителей, что ночевать не придет.

Я ждал, я надеялся — да, произойдет, да, будет! Но когда-то, в благословенном и еще невинном будущем. Будущее вдруг ринулось навстречу и... застало меня врасплох. Я знал женщин, давно уже не терялся перед ними, но Майя для меня не просто женщина — неприхотливые желания и нескромные мысли несовместимы с ней, до сих пор гнал их от себя, стыдился их, боялся осквернить даже печальным помыслом. Сейчас, вот сейчас — иная Майя...

Я вспомнил, что окно так и осталось незадернутым. «Пусть даже Луна...» Я кинулся к окну, задернул. И обернулся.

Она стояла в комнате, утопая в моем купальном халате — тяжелые складки падают до самого пола. Лица нет, есть только глаза, бездонно темные, без блеска — прямо на меня! — истекающие ужасом. И не двинуть рукой, и ноги непосильно чугунны, и пересохло горло — полный столбняк. Только сердце бешено стучится в ребра.

Она чуть повела плечом — жест неловкий, с беспомощным вызовом, — и тяжело свисавший халат рухнул вниз, выплеснув из себя ее, узкую, белую, ослепительную, как всполох. И глаза, горящие черным ужасом, погасли под веками, и лицо медленно склонилось, и на выпуклый чистый лоб упала жесткая прядь волос. Глаза погасли, их сковывающая сила исчезла, я, освобождаясь от деревянности, сделал шаг к ней, робкий, виноватый, готовый оборвать движение, замереть при взмахе ее ресниц. Скованная, ожидающая, мучительно беззащитная, преодолевающая себя, решившаяся на первобытное откровение — вот она я, как есть, смотри! Острые, хрупкие, нервные плечи, потерянно уроненные тонкие руки, и упруго стекающие бедра, и недоуменные груди. Как есть — вся! Проста и чиста, доверяюсь. С колотящимся сердцем я сделал второй шаг, опустился на колени, уловил молочно-свежий запах ее кожи, лицом ощутил глубинное тепло ее тела. Она вздрогнула, когда я прикоснулся лицом, и снова замерла.

На меня с высоты глядели ее бездонные глаза...

Она уснула, и лицо ее было детски обиженным, пожалуй, капризным, но не трагичным. Вкрадчивые тени падали от опущенных ресниц, на нежной коже под тонкой ключицей была маленькая родинка, мне не знакомая. Да и вся она с растрепанными короткими густыми волосами, с кулачком, втиснутым под выпирающую скулу, с невнятной капризностью на губах нова для меня и пронизывающе родна, хоть плач от беспричинной к ней жалости.

За окном забуянили воробьи, их хлынувшие голоса можно было бы принять за обрушившийся звонкий ливень, если бы сквозь небрежно задернутую занавеску не протекал зовуще ясный розовый свет, какой может родиться лишь при безоблачном, победно широком рассвете.

Медленно и осторожно, затаив дыхание, не спуская глаз с ее ресниц, хранящих под собой дымчатую тень, я постепенно высвободил себя из-под одеяла, легко поднялся, чувствуя, как рвется из меня наружу энергия: что-то делать, двигаться, еще и еще раз перебрать, осмыслить свершившееся счастье, жить взахлеб.

Я поднял оброненный ею халат, натянул его на себя, открыл осторожно дверь на балкон, еще раз бросил взгляд на Майю — перепутанные волосы на подушке, кулачок под скулой, прочерк ресниц — вышел.

Солнце пока не взошло, пылало все небо, круто вздыбленное над городом, пылало без накала, насыщенным, освещающе прохладным сиянием. Всемирно необъятное, мощное и короткое пожарище, где нет пламени, нет лучей и нет теней, просто воздух обрел светимость, проникает в каждую пору, надышишь им — и сам засветишься изнутри.

И под океаном света, на дне его — знакомый город, накрытый крышами. Знакомый, но преображенный — вымытый, снявший с себя житейскую копоть, настолько праздничный, что уже просто не представляется, как в нем теперь будут существовать обычные люди, те, кто суетно мельтешит на земле ради куска пожирней, кто способен корчиться от зависти, вынашивать ненависть, лгать другим и себе, напиваться до скотства, сквернословить бессмысленно; те люди, кого не тревожат ни собственная нечистоплотность, ни загрязненные реки, ни отравленный воздух, ни растущий шум, плодящий неврастеников. Вымытые крыши, они парадны, даже несколько крикливы сейчас, похожи на пеструю россыпь гальки, океан света

лежит на них. Праздничный город сейчас пуст, кажется, что он ждет новых жителей, не терпящих никакой грязи, чьи желания столь же лучезарны, как это кротко нылающее утро.

И я содрогнулся от простой мысли: наступающее сегодня совсем будет непохоже на все дни, оставшиеся позади. Там — зажито обычное, здесь — начало начал!

За моей спиной в нескольких шагах спала Майя. Всю жизнь шел к ней!

Единственная... Люди истерли это слово. Не я первый, не я последний нуждаюсь в нем. Единственная... Уже использовано, но другого-то нет.

Всю прошлую жизнь — к тебе, всю будущую — рядом! И стану постоянно оглядываться на себя...

Без тебя толкался бы среди людей человек, наверное, не столь уж и дурной, но прощающий себе многое. Озаренная тобой жизнь впереди — нет, не подведу, буду достоин тебя, Майя!

Буду! И это тебе подтвердят люди. Ты сделаешь счастливым меня, а я их. Отдам им себя без остатка, все силы, какие есть, всю жизнь день за днем. Клянусь, Майя, буду!..

Но люди могут и не понять, что начало начал — ты, от тебя рождается. Они не догадаются вознести тебе благодарственную молитву.

Так я за них провозглашу тебе, Майя, многие лета!

Да пусть всегда исходит на меня твой свет!

Да не иссякнет твое влияние на меня!

Да станет вечен твой светлый дух!

Да будет жить он и в поколениях после нас!

Единственная среди людей —

Жизнь дающая!

Меня окружал океан света. Отдыхал внизу чистый, праздничный город. Я молился. И мое божество лежало за моей спиной, подсунув под щеку сжатый кулачок.

Глава вторая

УТРО

1

В школе у меня было много учителей, научивших меня понимать бином Ньютона, периодическую систему Менделеева, естественный отбор Дарвина. Но, увы, ни про одного

из учителей школы я не могу сказать: это он направил, он определил мою жизнь, он изначальный творец моего будущего — Учитель с большой буквы! Настоящий Учитель всегда ниспровергатель, он переворачивает с ног на голову твой привычный мир, в простом заставляет видеть сложное, сложное низводит до емкой простоты, и черное после него становится белым.

Лишь в институте я наткнулся на человека, кого смею назвать этим высоким именем.

«Он создал нас, он воспитал наш пламень!» Нас было не так уж и много, со всего курса только двое стали его аспирантами — Витька Скорников, мой приятель, и я. Витьку Скорникова он едва ли не проклинал... за излишнюю верность себе.

Борис Евгеньевич Лобанов, многолетний заведующий кафедрой прикладной химии в нашем институте, в свое время сделал открытия, которые позволили изменить технологию получения азотистых удобрений. И до сих пор в специальной литературе среди других почтенных имен постоянно упоминается его имя. Виктор загорелся примером Бориса Евгеньевича: добыть те же удобрения, но дешевым способом, из самого дешевого сырья — воздуха! Казалось бы, весьма похвально — верный ученик идет по стопам Учителя. Но Учитель сам был недоволен собой.

Он теперь постоянно приводил слова Энгельса: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит». В США с 1949 года по 1968-й производство зерна на душу населения увеличилось на шесть процентов — всего лишь на шесть за девятнадцать лет! — а использование удобрений на... 648 процентов! Оказывается, химические удобрения «подобны наркотикам: чем больше их используют, тем в больших дозах они требуются». Только слепой может не видеть, что за малые победы грядет великая месть!

Борис Евгеньевич Лобанов убеждал в этом своего ученика Виктора Скорникова, но ученик остался верен старому профессору Лобанову, подарившему стране многие тысячи тонн удобрений, а вместе с ними многие тысячи тонн хлеба... Виктор, воспользовавшись случаем, перевелся в другой город, в другом институте успешно защитил свою диссертацию.

Борис Евгеньевич отзывался о нем с горечью:

— Не освободил себя от обезьяны — мастерски способен передразнивать других, а найти свое, увы, не дано.

В устах в общем-то деликатного Бориса Евгеньевича это звучало почти как проклятие.

Где-то в прошедших веках родилось убеждение: победителей не судят! В наш парадоксальный век появились победители, пристрастно судящие свои победы. Те, кто помог открыть ценную реакцию, раньше, громче, тревожней, чем кто-либо заговорили о страшной радиоактивной опасности. Лео Сциларды и Роберты Оппенгеймеры существуют и в других науках, пусть они не столь известны миру, но их нешумная тревога, право же, не менее обоснована.

Доктор химических наук Лобанов был из таких — судил свои победы, считал, что они представляют угрозу для будущего.

Должно быть, такой самосуд не проходит безнаказанно для ученого. Тот же Роберт Оппенгеймер в ядерной физике уже больше ничего не сделал, стал заниматься санскритом. Борис Евгеньевич продолжал преподавать студентам химию, следил со стороны за нашими работами, но сам уже в лабораторию не заглядывал, научных статей давно не писал, а только популярно-просветительские — о биосфере, экосфере, о глобальном равновесии. Он стал активным членом разных обществ, комитетов, комиссий по охране среды от загрязнения. Хлопотал, заседал, составлял докладные, стучался в высокие кабинеты. Он по-прежнему считался моим научным руководителем, но охотнее разговаривал со мной о проторях и убытках человеческого сосуществования, чем об азотно-фиксирующих бактериях, которые стали предметом моего исследования.

Нет, Борис Евгеньевич не мог упрекнуть меня, как Виктора Скорникова, в «обезьянничанье». Мой учитель был «чистым» химиком, я, его ученик, стал биохимиком, и крен в эту сторону наметился у меня еще в студенческие годы.

Личная исповедь и наука — вещи, обычно не совместимые, но нельзя миновать того, что заполняло и заполняет мою жизнь, а потому придется рассказать, чем именно я занимаюсь.

И мы, и все живое, что нас окружает, собственно, состоим из азотистых соединений. Азот — это наша жизнь, наша пища, мы постоянно нуждаемся в азоте. И мы купаемся в нем, в великом океане азота — нашей атмосфере. Но только купаемся. Каждый из нас может в нем умереть

от азотного голода. Тот азот, который нам нужен, мы получаем из земли сложным путем — через растения, через мясо животных. Атомы азота в воздухе спаялись в «глухую» молекулу, ни на что не реагирующую и невероятно прочную. Чтоб расколоть ее, нужна, например, температура едва ли не выше, чем на Солнце. Такой орешек человеку раскусить не под силу.

Но каким-то чудом ее удается «раскусывать» растениям, они питаются азотом воздуха, однако и для них эта пища тяжела, от нее сыты не бывают. И тут им на помощь приходят бактерии. Есть счастливицы растения, у которых прямо на корнях проживают колонии микроспециалистов по добыванию азота из воздуха — прославленные клубеньковые бактерии. Вот если б они квартировали на корнях пшеницы или ржи, то человечество тоже было бы счастливо — с каждым урожаем наши почвы не оскудевали бы, а становились еще плодородней.

Однако существуют бактерии, которые живут в почве сами по себе, ни с какими растениями не связаны, но брать азот из воздуха способны. Их открыли еще в конце прошлого века и возликовали: стоит начать их разводить, запускать в почву — и тощие подзолы, даже песок, даже материковые глины станут обильно плодоносить. Увы, азотобактеры оказались капризны и рахитичны. Они сами еще больше растений нуждались в хороших почвах.

Где-то на четвертом курсе я загорелся — что, если посвятить жизнь этим азотобактерам?! Они же, бактерии, — не в пример людям и зверям, у них поколения сменяются поколениями в течение часов, а не десятилетий и не столетий. А потому и наследственные отклонения у них — дети не похожи на своих родителей! — должны случаться достаточно часто. Могут появляться более хилые и нежизнеспособные, а могут и стойчески выносливые, преодолевающие самые неблагоприятные условия. И мне казалось, что стоит лишь с усердием и терпением заняться разведением азотобактеров, помещая их все в более и более неблагоприятную среду, как рано или поздно в моих руках окажется пекий мутант — сверхазотобактер! Он будет чрезвычайно жизнестоек и неприхотлив, вот тогда-то и вноси его в подзолы, в пески, в материковую глину, превращая их в плодоносящие почвы!

Свои наивные мечтания я пресек сам, сам дошел до простой и обескураживающей мысли: азотобактеры существуют многие миллионы лет, природа паверняка их ста-

вила в разные условия, и если до сих пор не существует тот сказочный азотобактер, то что-то мешает, что-то столь непреодолимое, перед чем пасует даже всемогущий естественный отбор.

Совсем недавно открылось, что растения-счастливицы не только принимают помощь от бактерий, но и сами помогают им. В Москве на Долгопрудной профессор Турчин получил из сока растений таинственную пока жидкость. Волшебный эликсир, дающий чудесную силу клубеньковым бактериям. Но азотобактеры-то справляются без растений! С помощью чего? Фабрикуют ли они сами такую жидкость? Или имеют еще что-то, не менее удивительное? Словом, передо мной замаячило — открыть то непреодолимое, что мешало природе пестовать сверхазотобактеры! Открыть, найти обходной путь к тому, чтобы подзолы, пески, материковые глины плодоносили, словно тучный чернозем!

Вот эта таинственная жидкость...

...и она...

Для многих моя тема казалась фантастической, но не для Бориса Евгеньевича.

— В ней есть сумасшедшинка, — говорил он, — но весьма умеренная, компромиссная... Видите ли, дорогой мой, чтоб быть вашей идее по-настоящему прозорливой, мешает одна консервативная уступка — само пахотное поле! Вы его решили улучшить, но все-таки оставить для будущих поколений, а оно, ох, накладной подарок. Рано ли, поздно население так возрастет, что придется распахивать всю свободную от застроек землю, иначе не прокормишься. Пахотные поля сожрут все леса, а значит, высушат реки, вода станет дефицитом, пустыня — повсеместным явлением. Спасительна ли по большому счету ваша идея, рассудите сами?..

Объемистый лысый череп, запавшие виски, жестковатое лицо аскета с прямым решительным носом, и нерешительные голубые рассеянные глаза, и легкое сухое тело бывшего спортсмена — когда-то давным-давно Борис Евгеньевич брал призы по лыжам. Он был старше моего отца на целых десять лет, но ни один из молодых ученых в нашем институте не мог сравниться с ним в воинственной непримиримости к общепринятому, устоявшемуся. Эка, куда хватил — корми людей и не паши землю!

Я пытался уязвить его, смиренно спрашивал:

— А какой вы представляете себе спасительную идею?

Он смеялся и обезоруживающе разводил руками.

— Не знаю.

Впрочем, я понимал: его слова прямого отношения к нашей науке не имели, просто появился повод лишний раз высказаться о трудной судьбе рода человеческого, которая не давала покоя ему в последние годы. А уж раз повод появлялся, то остановить Бориса Евгеньевича было нельзя.

— Сейчас считается высшим благом — открыть новое, никому не ведомое, тогда как куда для всех нас важнее понять простое и очевидное. Все видят — идет демографический взрыв, планета уже тесна, а станет и вовсе не хватать места под солнцем, люди начнут задыхаться в общей давке. Казалось бы, чего проще — договориться, пока не поздно, о регулируемости рождаемости. Ан договориться-то мы и не способны. Вспомните старый гоголевский конфликт Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Гоголевские Иваны глупы, необразованны, с таких, мол, и взятки гладки. Но я вот много лет слежу за теми, кто меня окружает, люди с высшим образованием, многие из них, право, по-настоящему умны, а гоголевские Иваны по сравнению с ними еще терпимые люди...

Мне хорошо было известно, о чем говорил Борис Евгеньевич. Я знал, что профессор Пискарев давно ненавидит профессора Зеневича. В оны времена, еще до моего появления в институте, Зеневич сострил о пискаревской теории теплового видоизменения растений: «За вкус не ручаюсь, а горячо подам». Сам Пискарев давно отказался от своей теории, профессора вежливо здоровались при встрече, улыбались друг другу, и... старая история Монтекки и Капулетти повторялась в наших стенах. Молодые студенты, едва оглядевшись в институте, уже начинали прикидывать, к какому клану им прислониться. Пискаревцы с зеневичевцами, Монтекки с Капулетти — в коридорах, на семинарах, на собраниях, на ученых советах мелкие стычки и крупные сражения, легкие уколы и тяжелые удары, «да» одних непременно становится «нет» для других. Слава богу, Борис Евгеньевич был слишком крупная фигура для этой междоусобицы, перед ним могли только заискивать, но втянуть не пытались. За надежной спиной своего шефа и я спокойно жил, без помех работал.

— Не найдено способа, как совместить иванов ивановичей с иванами никифоровичами. Ни о какой договоренности в масштабе всего человечества и речи быть не может. «Грустно жить на этом свете, господа!» Ой, нет, нам уже теперь не до грусти...

Все это «жомини да жомини»¹ — разговоры на отвлеченные темы, а кто-то должен был делать науку, обещающую: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Я тащил лабораторию на себе, все меньше и меньше рассчитывал на помощь своего старого Учителя. И бегал плакаться на него к Зульфие Козловой, единственному другу и поверенному, так как Витка Скорников давно уже перебрался в Новосибирск.

2

У Зульфии узкий, стиснутый с висков высокий лоб, потухше-матовый цвет лица, бархатные ласковые глаза и в черных, гладко забранных в пучок на затылке волосах робкая седина. Она всегда сидит в одной и той же позе, уютно подвернув под себя ногу, облокотившись на диванную подушку.

— Мир без праведников не живет, а праведней не становится... — Голос ее ленивый и убаюкивающий, однако им она может произносить и жестокие истины, и язвительные упреки. — Лобанов перестал быть ученым, сам знаешь, не потому что выдохся. Наоборот, у старика наступило второе дыхание, а вместе с ним и самомнение: силен, мудр, все по плечу, даже праведнические подвиги. Выжимать из бактерий крупицу пользы — уже не серьезное. Взять быка за рога, перестроить больной мир — на меньшее он не согласен. Весьма распространенная глупость беспокойных и мыслящих людей.

— Глупость мыслящих?..

— А ты считаешь, что это миленькое свойство присуще только дуракам? Какая наивность! Непреходящие глупости, милый мой, чаще совершают мыслящие, уже потому только, что они в большее вникают, глубже зарываются. Поверхностный дурак вообще не способен родить оригинальную глупость, повторяет лишь чужую, всем очевидную, значит, и не столь опасную. Возьми, к примеру, Жан-Жака Руссо, глупцом, право, не назовешь, а глупостей нагородил столько, что два века с ними носятся и износить не могут.

¹ Перефраз строк из стихотворения Дениса Давыдова «Песня старого гусара»: «Жомини да Жомини, а об водке ни полслова». Жомини — французский генерал, перешедший на службу в русскую армию. (Примеч. автора.)

— Ты считаешь, что желание перестроить мир — глупость?

— Да неужели ты считаешь иначе?

— Но люди тем только и занимаются, что перестраивают и подправляют доступный мир.

В ее ласковых глазах теплится снисходительная усмешка.

— Полно, мальчик, полно, не повторяй чужих заблуждений. Построить плотину, повернуть вспять реку еще не значит изменить мир.

— И все-таки от плотины, от повернутых рек мир меняется.

— Точно так же, как и от коз, которые выедают кустарник на острове, предоставляя дождям и ветру сносить почву, оставляя бесплодные скалы. Человек, по сути, поступает по-козьему, вся разница в масштабах.

Зульфия, обласкивая меня взглядом, выжидающе замолкает. Она знает не только, что возражу я, но уже заранее приготовила свой ответ.

— Ты хочешь приказать разуму, — говорю я с досадой, — на то-то дерзай, на то-то не смей замахиваться. Кто установит границу между дозволенным и недозволенным?

— Да сам же разум, золотко. Не кто другой, а разум открыл нам вселенское чудище — разбросанные по пространству несчетные галактики и нас среди них, нечто невразумительно малое, греющееся у жалкой звезды. Если ты действительно разумен, то сообрази: что можем сделать мы... мы с миром?! Перевернуть его развитие по нашему желанию — ха! Согласись, что глупо... В награду за твою милую доверчивость я сейчас постараюсь напоить тебя чаем. Сиди и жди, не смей срываться. Вот тебе твой Босх...

Она любит обрывать спор в самом накале, но уже тогда, когда, по ее мнению, противник прижат — пока не осознал поражения, пусть дозревает сам с собой, почувствует свое ничтожество, постигнет ее великодушное величие. Чай появляется в каждую нашу встречу, но всегда в разное время, всегда он некая торжествующая пауза.

Как-то однажды я наткнулся в ее книгах на цветную, роскошно изданную монографию — Иероним Босх. И каждый раз, как только выдавалась свободная минута, я со странным, почти нездоровым любопытством начинал смаковать изощренные кошмары, созданные больным воображением этого средневекового художника: всадники с репейными головами на опрокинутых кувшинах, зеленые

ведьмы с чешуйчатыми хвостами, уши, отрубленные человеческие уши, зажавшие карающий нож, умиление в соседстве с агонией, целомудренность в обнимку с развратом, наслаждение и рвотность, тошнотворнейшие химеры и лица людей тошнотнее химер. От этого необузданного безумия, от буйного до безобразия хаоса надрывных страстей я сам начинал разлаживаться — чувствовал отвращение и упивался, отдавал себе отчет, что это воспаленный бред свихнувшегося гения, и мучительно искал в нем разумную логику, настраивал себя на пропический лад и испытывал озноб. Мне и неприятно мое нездоровое раздвоение и доставляет удовольствие, почти что мстительность, только не понять — мстительность кому?.. Зульфья не видела ничего странного в моем интересе к Босху, без задней мысли подсовывала — развлекись на досуге.

Насколько замысловато сложны бывали ее рассуждения, настолько неухищренно просто принимала она наши отношения — никаких условностей, претензий, требований, обещаний. Неприкаянная жизнь, видать, научила ее терпимой мудрости: цени любую близость, если она спасает тебя от одиночества. А в институте, да и во всем городе у нее, кроме меня, близких людей не было.

И все-таки связь наша оказалась непрочной — лопнула сразу, как только появилась Майя. Сразу же после блужданий вокруг Чермуховского озера с тремя студентами, оторванными от уборки картошки, еще до первого свидания с Майей в городе я вдруг ощутил в себе такую несокрушимость жизни, что фатальные рассуждения Зульфьи о судьбах человеческих мне стали казаться просто смехотворными. Подогнув ногу, с улыбочкой на губах, за чашкой чая — о страстях-мордастях судного дня, эва!..

Зульфья не демонстрировала переживаний, не искала случая объясниться, сама отодвинулась в сторону. А наша близость — единственное, что скрашивало ее одиночество. И я знал, Зульфья давно тяготится своим неопределенным положением в институте...

Меня несколько не удивило, когда услышал: она собирается уезжать от нас.

Она перехватила меня в коридоре. Подбородок утоплен в воротник, низко надвинутая на лоб меховая шапочка, лицо осунувшееся, тусклое, в углу сжатых губ вздрагивающий живчик и голодный, ищущий взгляд.

— У тебя сейчас ничего срочного? — вопрос в сторону. Меня ждали в отделе кадров, где я должен был офор-

мать с трудом пробитую Лобановым новую единицу для лаборатории, но понял, срочное надо забыть.

— Ничего.

Она вытащила из папки крупную книгу в цветистом глянцево-м супере.

— Вот... На память.

Иероним Босх.

— Тебе же правился этот художник...

— Да, — солгал я. — Спасибо. Ты сейчас?..

— Такси уже ждет внизу.

Беспросветно бархатные глаза.

— Все повторяется, Павел, все повторяется: никто обо мне здесь не заплачет, и никто не встретит меня там с радостью.

И бархатность исчезла, глаза заблестели от навернувшихся слез.

В такси мы ехали замкнутые каждый в себя. Устремленный в пространство профиль, взметнутая в напряжении бровь, в углу сжатого рта неуспокаивающийся живчик.

— Я никогда не боролась за себя. Почему? — вдруг спросила она.

Не мне отвечать на этот вопрос.

— Похоже, мое появление на свет было не запрограммировано, потому-то всюду я лишняя. А лишним не только невозможно бороться за себя, хуже — неприлично!

Застывшая на взлете бровь, под жесткими ресницами подозрительный блеск, дергающийся в углу рта живчик.

3

Я посадил ее на поезд и в последний раз увидел ее лицо сквозь мутное стекло вагона — печальное и отстраненное. Поезд тронулся, и она уплыла, унося в неуютную даль свою неустроенность.

Господи! Как непрочно мы все привязаны друг к другу! Зулфия, уехавшая неоплаканной, а не потеря ли это?

Майя, счастливо найденная после долгих, долгих поисков. Но нить, соединяющая нас, еще тоньше, чем была с Зулфией. Пока мы лишь украдкой встречались, я еще не посмел выдать из себя признания, и момент, когда в темном зале кинотеатра «Радуга» я положил свою руку на нее, был тогда впереди. Я нашел Майю, она вдруг также

найдет другого — порвет все, останусь один. Не лучше бы задержать Зульфью... Уехала неоплаканная.

Никогда я не предавал Майю, даже мысленно. Только тут — в первый и последний раз.

Стоял морозный вечер, свежавыпавший снежок хрустел под ногами. Я круто завернул в привокзальный ресторан.

В потном воздухе висит пластами табачный дым, слитно-глухой гул голосов, лязг тарелок, неистребимый запах кислых щей. Встрепанные женские прически и прически монументальные, гладкие проборы и розовые лысины, цветные мохеровые шарфы и помятые командировочные пиджаки, золотые погоны офицеров и незатейливый ситчик, обтягивающий пышные телеса. И кругом суетное шевеление, сосредоточенность над тарелками, полупьяные голоса и призывы до вопля:

— Официантка!.. Девушка! Девушка!..

Взмывленные девушки-официантки в сбившихся пахламленных кокошниках плавают над суетным многолюдьем.

Каждый привокзальный ресторан — маленький Вавилон, смещение народов, чужих друг другу, не пытающихся друг друга понять. Заблудиться в этом Вавилоне — незавидное счастье того, кто одинок.

Компания — двое краснолицых мужчин и две разомлевшие женщины — поднялись, оставляя после себя разграбленный стол, и я поспешно занял нагретый чужим задом стул.

Зульфья уже далеко за городом — кочевница двадцатого века. Ныне страждущие покоя мечутся как угорелые, а умные понимают меньше глухих.

Я сидел, задумавшись, за неприбранным столом. И вот тут-то ко мне подошел он. Из толпы, из содома бесцеремонно нырнул в мое одиночество.

— Свободно? — вежливо тронул спинку стула.

Я кивнул, он уверенно опустился, положил на стол красные руки, уставился на меня изучающе, но дружелюбно. Тощий, длинный, из ворота растянутого свитера, как квац из махотки, высывалась топкая кадыкастая шея, лицо узкое, подсушенное, разрез рта старчески аскетический, нос мелкий, точеный, мальчишески вздернутый. Он уже успел потерять признаки возраста — двадцать ли лет всего или уже за тридцать? — но явно бывалый человек. Одет бедно — поверх свитера потрепанный пиджачок, — в жизни не преуспевает, а держится свободно и независимо. Возможно, независимость наигранная, возмож-

по, он из ранних алчущих, готовых стать другом первого встречного ради стопки водки.

Он участливо спросил:

— Тоже приезжий?

— Нет, здешний.

— А я только что с поезда. Из Минска сюда.

Я сейчас нуждался в друге-собеседнике, а нет более душевного друга, чем жаждущий выпить. Уж он-то, можно не сомневаться, будет предельно внимателен, отзывчив на каждое слово, на каждый твой вздох. С такими людьми быстро устанавливается пусть мимолетная, зато горячая любовь к ближнему.

— Хотите выпить со мной? — предложил я.

Он потрянул запущенными космами.

— Не употребляю.

Вот те раз! И я невольно устыдился своих скоропалительных подозрений.

— Учите, — тоном завсегдатая предупредил приезжий, — водки здесь не подают, только дорогой коньяк.

— Вытерплю. Так вы отказываетесь?

— Вместо дорогого коньяка закажите мне тарелку дешевых щей. Я голоден. — Без смущения, без заискивания, глядя мне в глаза открытым светлым взглядом.

Зато смутился я, поспешно согласился:

— Да, да, закажите себе что хотите. Я понимаю, каждый может оказаться в стеснительных обстоятельствах.

Он усмехнулся.

— Это мое обычное состояние — не иметь денег на тарелку щей.

Все больше и больше он мне нравился. Откровение за откровением, я спросил:

— Кто вы, странный человек?

— Разве не иметь денег так уж странно?

— На щи, пожалуй, что да. Теперь каждый на это зарабатывает.

— А я не работаю.

— Чем же тогда занимаетесь?

— Езжу. Гляжу.

— Имея при этом какую-то цель?

— Нет.

— Но на разъезды нужны деньги.

— Мне их дают.

— Кто?

— Случайные знакомые, вроде вас.

— Дают? Добровольно?

Я, наверное, с большим, чем пужно, любоньтством поглядел на него, и он меня спокойно осадил:

— Успокойтесь, я не вор и не вымогатель. Впрочем, вы не первый, кто подозревает меня в дурном.

— Да, боже унаси, в мыслях не было подозревать вас в дурном... Но как все-таки понимать — случайные знакомые?

— А как объяснить, что вы предложили сейчас накормить меня? Вы случайный знакомый.

— Ну, а если бы я, случайный, совершенно случайно вдруг оказался еще и феноменально скупым?..

— Нашелся бы другой. Непременно.

— Так уж и непременно?

— Да. Вы не замечали, что добрых людей не столь уж и мало па свете. Их куда больше, чем неотзывчивых.

Он каждым ответом клал меня на лопатки. Кажется, мне следовало извиниться перед ним:

— Похоже, за свой жалкий хлеб-соль я бесцеремонно выматываю вам душу. Простите, постараюсь ни о чем больше не спрашивать.

— Спрашивайте, не стесняйтесь, вы нисколько не обижаете меня.

— Мне кажется, вы достаточно образованный человек. Вы что окончили?

— Не окончил экономический институт, бросил его на четвертом курсе.

— Почему?

— Да потому, что понял — меня готовят к тому, чтобы я кому-то подчинялся и кого-то подчинял. Ни того, ни другого я делать не хочу. Решил жить свободным от всех и от всего, обязанным лишь доброте встречаемых людей.

— И вас не тяготит, простите, роль постоянного просящего?

— Ничуть. Я прошу иногда, но никогда не выпрашиваю. Вы бы могли отказать мне сейчас, ни умолять, ни повторять своей просьбы я бы не стал.

— Нисколько не сомневаюсь.

— А я не сомневаюсь в другом — если я вдруг откажусь теперь от вашего обеда, вам будет очень неприятно.

— Вы правы.

— Вот вам пример: людям очень хочется, чтоб кто-то принял от них то доброе, на что они способны. И представьте, если все перестанут из ложной стеснительности обращаться за помощью друг к другу, не будет и возмож-

ности проявлять доброту. Это качество усохнет за ненадобностью.

— Странно... И возразить тут ничего не могу.

— Почему-то всем это кажется странным. Странно обратиться к ближнему — помощи; не странно — вырвать у него ловким маневром кусок изо рта. А как часто такое делают люди, считающие себя глубоко порядочными...

Я не успел ничего ответить — над нашим столом стояла официантка в кокошнике, с вопрошающим взглядом и огрызком карандаша, нацеленным в развернутый блокнотик.

Я стал заказывать обед незнакомцу.

Его звали Гоша Чугунов. После обеда я поинтересовался:

— Где же вы будете ночевать?

— На вокзале, — ответил он. — Если, разумеется, нельзя будет переночевать у вас.

И я, не колеблясь, согласился:

— Именно у меня-то и можно. Я один как перст.

Так Гоша Чугунов впервые вошел в мой дом.

И случилось это года за полтора до лунного затмения, соединившего меня с Майей.

4

После лунного затмения прошло полмесяца, заполненного сближением с Майиными родителями и переоборудованием моей холостяцкой однокомнатной квартирki под семейное гнездо.

Впрочем, переоборудование было не суетным, не утомительным и даже не особо дорогостоящим. Железную, взятую в свое время напрокат у коменданта институтского общежития койку вынесли вон, на ее место встала тахта, просторная и зеленая, как кусок весеннего поля. Над ней в изголовье я привинтил к стене матовое бра. Сменили шторы на единственном окне (оно же и дверь на балкон). В кухне повесили белые шкафчики, а кухонное окно тоже украсили занавесочкой в пестрых цветочках.

И однажды вечером Майя привезла из дому маленький коврик, положила его на пол возле тахты, отошла к двери, постояла, склонив голову, уронив на чистый лоб прядь волос, произнесла удовлетворенно:

— Кажется, все.

Я взгляделся и поразился: вещи в комнате вдруг не-

зримо стали связаны друг с другом. Матовое бра в изголовье — с зеленым простором тахты, полки с книгами, внушительно серьезные, с письменным столиком; он, старый, несолидный, один из тех казенных столов, что украшают второразрядные учреждения, обрел неожиданно свою физиономию, и кресло, придвинутое к нему, выглядело столь значительным, что казалось, внушало: стою не просто для удобств, сиденье, рождающее глубокие мысли. Робость берет. И центром, связывающим все и вся — бра, тахту, полки, стол с глубокомысленным креслом, — был коврик, только что разостланный на полу Майей. Без него не существовала бы незримая гармония, заполняющая наше жилище.

А на стене — хохочущая осенняя рябинка Грабаря...

И я стоял, пораженный этим разлитым по знакомым вещам непривычным мне покоем. Стоял и наслаждался. Вот через это пойдет моя жизнь. Она будет, конечно, обременена заботами, суетой, часто дерганная и нервная. И ты станешь временами уставать от нее, но каждый вечер приходить сюда, в эту нехитрую гармонию бра, тахты, стола с креслом и коврика на полу и обретать силы. И здесь тебя будет всегда ждать она, созидательница гармонии, творец покоя. Что еще надо? Можно ли желать большего?

Вот оно, оказывается, как выглядит человеческое счастье!

И, должно быть, Майя переживала то же самое. Она попросила:

— Задерни шторы.

Верно! Через окно к нам рвется внешний мир — наш город, столь же шумный, как и остальные города на свете, в нем разные люди переживают разное. Потом мы вернемся к ним, станем жить среди них, вместе с ними радоваться, вместе с ними сострадать. Потом... Сейчас у нас свое, и мы им ни с кем не желаем делиться.

Мы сидели на новой тахте и пили кофе. Впервые семейному. А я думал о том, как много у нас — бесконечно много! — впереди таких вот вечеров, отгороженных от всего и от всех, глаза в глаза. Думал и обмирал: вероятно ли такое? Рядом с ней...

У Майи лучились глаза и вздрагивали губы. Она бережно взяла мою руку.

— Павел... Плохо, когда с детства веришь, что ты чем-то лучше других, необыкновеннее. А я, кажется, родилась с этой мыслью.

— Каждый мальчишка и девчонка, Майка, думают, что они пуп земли... пока не вырастут.

— У меня это затянулось... до девятого класса. И ведь училась так себе, и никаких талантов не было: стихи писала — бросила, рисовать бралась — не получалось, в кружке самодеятельности играла — как связанная на сцене и голосишко слабый. Ну ни проблеска, а так верила — лучше других, необыкновеннее! — что и все кругом тоже начали верить. Подружки завидовали, не зная чему, ребята относились с почтением. Почему?..

— Ты красива, Майка. Красота — дар божий, вроде таланта.

— Ах нет, у нас в классе Ниночка Румянцева — глазищи во, коса через всю спину. Я дурнушка рядом с ней. А ей не завидовали, только два самых тихоньких парня, Кусенков и Фунтиков, в нее влюблены были... Ну а в девятом классе я задумалась: школа-то кончается, куда дальше идти, кем быть?.. Кем, Павел? Математику и физику не любила — в технический вуз мне и соваться нечего. Куда — в театральное, в консерваторию, в художественный институт? Лучше других, особенная! Тут-то вот и очнулась — с высокой горки да в лужу!..

Лучистые глаза Майи потухли, взгляд ушел внутрь, на изогнутых губах блуждала улыбка, страдальческая и растерянная.

— Педагогический институт под боком, пошла в него... И распаляла себя — стану, мол, преподавателем литературы, не таким, как все, свой подход найду, свой метод открою. Рисовала себе, как я детишкам о Пушкине рассказываю: притихший класс, круглые глаза... Дохожу до того, как раненый Пушкин умирает в своей квартире на Мойке, прощается с женой и с друзьями, все плачут, и я вместе со всем классом... Умиление, да и только. Опять возомнила, что уж стану не иначе, как великим педагогом. Ян Коменский в юбке! Опять, Павел, опять! Тебе не смешно? Ну улыбнись, скажи, что я дура наивная. Стою того.

— Я и сам, Майка, о памятнике мечтал.

— Ты — о памятнике? Каком памятнике?

— Бронзовом, во весь рост, вроде первопечатника Ивана Федорова, только без бороды. И ставил его в мыслях посреди нашей деревни — куры порхают, козы травку щиплют, бабы с ведрами к колодцу идут, а я стою... на пьедестале.

— А за что тебе памятник, ты знал?

— Смутно, Майка. За какие-то потрясающие научные открытия, конечно... от благодарного человечества.

Она сидела передо мной, не улыбаясь серьезно, немного озадаченная, что-то соображала про себя, наконец тряхнула волосами:

— Но ты и сейчас веришь, что сделаешь открытие?

— Пожалуй... Только памятника себе, право, уже не хочу.

— А у меня от веры в себя ничего... ну, совсем ничего не осталось — пусто. Года не проучилась, как поняла — какое там, буду учительницей-словесницей в школе. «В окончаниях существительных после шипящих и «ц» под ударением пишется «о» и без ударения — «е»... Изодня в день, из года в год вдавливать в ребячьи головы такие вот правила, и горы тетрадок с орфографическими ошибками, и скучные, казенные программы, из которых не смей выскочить, и хошь не хошь, а гоняйся за процентом успеваемости, отчеты, педсоветы, методические совещания... В себя заглянешь — пусто, вперед заглянешь — не светит. И никто, никто не виноват в том, сама такая нелепая — как ни верти, а ни к чему себя не приладишь. Павел!.. — Ресницы ее взметнулись, глаза огромные, пугающе темные. — Я презирать себя стала, презирать! Со стороны посмотреть, живу как все, встречаюсь с людьми, болтаю о пустяках, смеюсь, а внутри эдакий сверчок сидит и пилит, пилит: «Пустое!.. Пустое!.. Пустое место!..» Иной раз не выдержишь, сорвешься на мать, на подруг... Главным образом матери доставалось... И по ночам в подушку плакала от тоски, от жалости к себе, такой недотепе...

Я пошевелился, хотел негодуя возразить, но она подалась на меня — распахнутыми глазами, всем телом.

— Молчи!.. Я бы до сих пор так и барахталась в себе, если б не ты. А ты несколькими словами... Там, над Настинным омутом, под Его улыбкой... Ты сказал мне, помнишь: «Заглохнет нива жизни»... Так я поверила, Паша, поверила! В невероятное, в то, что я женщина, жизнь воскрешающая и жизнь украшающая, младшая сестра тех, кто вдохновлял Гомеров. Нет, я не брошу институт, наверно, стану учительницей. Может, и не совсем плохой. Будет у меня, как у всех, профессия, но призвание... Мое призвание, Паша, быть запалом, взрывающим силы. Да, да! Силы, которые будни сделают сказкой, из глины сотворят прекрасное! Вер-рю-ю! Вер-рю-ю! Мне выпало счастье поджигать тебя, тебе — взрываться!..

Глаза ее горели, щеки пылали — задохнись и за-
жмурься. Я сидел оглушенный.

Рядом с ней — вечность! Вероятно ли такое?

Вероятно. Не пугайся, ты не один счастливiec на свете.

Да благословенны будут все, кто нашел друг друга!

Да неиссякаемо будет до конца дней раз и навсегда
обретенное счастье!

Да повторится оно в наших детях, в детях наших де-
тей и дальше, дальше, пока род людской жив на планете!
А может, еще дальше — повторится в запланетных и за-
солнечных далях, куда устремится беспокойное челове-
чество и свое человеческое унесет с собой.

Всем, всем, всем, живущим сейчас, и тем, кто будет
жить, — таких вот минут с глазу на глаз!

5

Раньше это событие именовалось торжественно — «вен-
чание». Сейчас в лучшем случае называют сухо, по-дело-
вому, без особых сантиментов — «бракосочетание». Но и
столь деловое слово кажется уже нам излишне возвышен-
ным, мы предпочитаем пользоваться канцелярским лекси-
коном — «зарегистрироваться», «расписаться». Богатый и
красочный русский язык тут оскорбительно оскудел и вы-
цвел.

Столь обидное пренебрежение к знаменательному мо-
менту, отмечающему создание новой семьи, было замече-
но даже нашими городскими властями. Нет, они, власти,
не собирались вводить в разговорный обиход высокий
стиль, зато предприняли ряд решительных мероприятий.
Для начала были выделены соответствующие сметы, и к
скучному зданию бывшего, не очень респектабельного ре-
сторана-шашлычной «Казбек» пристроили некое архитек-
турное излишество — портик с высоким крыльцом и ко-
лоннами в псевдоионическом стиле, придав тем самым
респектабельность, превратив бывшую шашлычную во
Дворец бракосочетания. Магазин готового платья рядом
обрел новую вывеску, а вместе с ней и новую специфику,
стал «Магазином для новобрачных». И хотя в нем ничего
особого не продавалось, но уже входить в него можно бы-
ло только по особым билетам.

Казалось бы, городские власти вполне преуспели в
своем усердии, однако и этого им показалось мало. Они
обязали один из комбинатов бытового обслуживания —

изготавливавший алюминиевые кастрюли — чеканить памятные медали, коими администрация Дворца бракосочетания награждала молодоженов. Похоже, не каждый-то город достиг такого.

Колонны ли в стиле древних греков, памятная ли медаль тому причина, но так или иначе, а во Дворец бракосочетания надо было записываться в длинную очередь и набираться терпения на долгие месяцы, если не на годы.

Для тех, кто этим терпением не обладал, колоннами и медалью не соблазнялся, существовали районные загсы. Они не столь торжественно, но тем не менее успешно перерабатывали холостых в молодоженов. Здесь уже не «бракосочетали», а «регистрировали» и «расписывали».

Мы с Майей предпочли районный загс.

К загсу на Конармейской улице подкатили в точно назначенное время и увидели — кучки празднично одетых людей, в каждой, как пчелиная матка среди роящихся пчел, невеста в белом одеянии.

Нас встретили перекатные разговоры ожидающих.

— Бракосочетательный затор получается.

— Теперь везде очереди, хоть газету купить, хоть жечься.

— Население выросло, то ли еще будет.

— Да не в населении дело, политика ныне другая. Раньше-то, в наши времена, весь загс — одна комнатенка, а в ней девица с завязанной щекой — зубы болят. Пять минут — все обстригает и «до свидания» не скажет. Теперь речь произнеси, и обязательно с чувством, и кольца вручи, и шампанского дай выпить, снова без речей нельзя. Культура выросла.

— Тоже работенка — зашиваются.

Боря Цветик, приятель Майиной подруги, владелец «пожарного» «Москвича», как наиболее молодой и энергичный из нашего окружения, стал решительно выяснять обстановку:

— Граждане обручающиеся, кто на какое время? Мы вот определены на три часа тридцать минут, а вы на сколько, невеста?

— За нами будете, мы на три десять.

Невеста — из белого крепа выпирают телеса, лицо плоское, широкое, прозрачная фата с жидких завитых волос падает на дюжие плечи. Она одна среди невест держится независимо, говорит громко, озирается величаво.

Остальные юны и пугливы, таращат глаза, жмутся к родителям. Окружение решительной невесты неприметное и подавленное, рядом с ней долговязый парень в новом костюме — пиджак коробом и галстук душит шею. У него правильное деревянное лицо. Жених.

— Но вы сейчас идете? — допытывается Боря Цветик.

— Перед нами оне! — указывает невеста всей дланью.

И те, на кого направлена ее длань, сильно конфузятся. Он в новенькой твердой шляпе, сухая жилистая шея торчит из накрахмаленного воротника сорочки, взрытые глубокими морщинами щеки, выцветшие глаза. Она — кургузенькая старушка, сильно робеет, смотрит в землю, не знает, куда спрятать свои натруженные руки.

— Тоже нужно! — роняет презрительно телесистая невеста. — Спыхватились.

И сконфуженный жених крутит жилистой старицкой шеей, оправдывается:

— Да коли б не нужда, зачем нам срамиться. Двадцать лет, считай, прожили вместе и не замечали, что в незаконном браке. Теперь вот я остарел, хворать сильно стал, помру, ей даже пенсии не дадут, а родня моя уж постарается — из дому живенько выживет. Она у меня видите какая, за себя не постоит, без угла и без куска хлеба останется. Конечно, совестно нам с молодыми-то вместе... Но мы вас долго, поди, не задержим. Нам торжественные речи говорить не будут и шампанское пить тоже...

— Будут! Положено! — возражает невеста и внушительно пошевеливает дюжими плечами, овечьими прозрачной фатой.

— Тогда что ж... Потерпим, не такое терпели.

Мая слушает, озирается, пугливо взмахивает ресницами. Мне она кажется особенно беззащитной в своем столь нелепом для городской улицы свадебном наряде. Смущаюсь вместе с ней, страдаю за нее, но не могу взять за локоть и увести от всех, чтоб по-прежнему — с глаз на глаз. Положено. Перетерпим, не такое терпели.

Неожиданно среди брачных групп появляется странная фигура — оплывшая лиловая небритая физиономия, выбеленные глаза, замусоленная кепка, пиджак застегнут на одну пуговицу так, что одна пола выше другой, отчего новоявленный кажется перекошенным. Он нетвердо держится на ногах, покачивается, руки глубоко запущены в карманы штанов, небритый подбородок высоко задран, вызываясь ловит направленные на него взгляды

своими бесцветными глазами. Собравшиеся, изнывающие от безделья, прекращают разговоры, поворачиваются, наступает тишина.

— Что?! — при общей тишине и внимании изрекает наконец фигура сипло и зловеще. — Чего смотрите, спрашиваю?.. Нравлюсь?.. Нет! И знаю, знаю, не могу нравиться! Безоб-разен! Да!.. А кто виноват, спросите? Кто довел Серегу Кирюхина до жизни такой?..

Перекошенная фигура, покачиваясь, выдерживает значительную паузу и патетически гроыхает:

— Жан-на!.. Слышите, братья женихи... жан-на меня довела до безобразия, чтоб ей провалиться!.. Братья женихи! Вот вы стоите теперь возле своих невестушек... Лебе-ди белы-я-а!.. — Тугой грязный кулак вырывается из кармана и возносится над головой. — Ведьмами станут!! Ужо вам, ужо, братья женихи! Сбросят оне белые перья и кровь вашу будут пить! Изо дня в день, из года в год — и не устанут, не-ет! Тошно вам будет и больно, братья женихи! Ох, тошно! А стонать не смей! Стонать она станет! И жаловаться не смей — пи-ни! Она будет стонать и жаловаться... Спрятаться захочете, братья женихи, не выйдет! Закон не позволит, под землей найдут!.. На казнь идете сейчас! На лютую! Нету зверя страшней, чем жан-на! Бегите, покуда не поздно, братья женихи! Сломая голову!.. Взгляните на безобразного Серегу Кирюхина и бегите от невест, покуда не поздно...

Тяжелый кулак гулко стучал в перекошенную грудь, в оплывшей щетинистой физиономии — величавость страстотерпца, вещающего великое откровение.

— И чего это глядят?! Безобразие полное! — первой вознегодовала дюжая невеста. — Милицию сюда!

— Мил-ли-цию! — всем перекошенным телом повернулся к ней страстотерпец и на секунду остолбенел. — Эва! А за энту-то кто идет? Кто энто себя так не жалеет?.. Энта даже лебедиными перьями не покрыта... Уж она сразу... Да!.. Живьем! С косточками!..

— Милиция! Милиция!

— Кто жених ее?.. Беги-и... Ой, беги-и!..

— Ми-ли-ци-ия-а!! — визжала невеста.

— Братья женихи, разбегайтесь! Поздно будет!..

И вырос отдувающийся, до красноты сердитый милиционер.

— Ты опять за свое?

— Опять! — гордо ответил неуверенно стоящий на ногах страстотерпец. — За правду стою!.. Спасая!..

— Безобразие! Налил зенки и оскорбления разные... Сюда, люди, можно сказать, за счастьем пришли...

— Гражданочка новобрачная! Не надо никаких!.. Нам он уже известен!

— За правду! За святую правду готов хоть на смерть!..

— А известен, так почему мер никаких?.. Полное безобразие! Такого из тюрьмы выпускать нельзя!..

— Тихо, гражданочка новобрачная, тихо! Пошли, Кирюхин. Ну, будет теперь тебе...

— Братья женихи! За вас...

— Пошли, пошли!

— За вас страдаю!

— Давай, страдалец!

— Братья! Задумайтесь, все девки хороши...

Милиционер, ухватив страстотерпца за шиворот, тащил от брачующихся, а тот продолжал вещать:

— Все девки хороши, откуда плохие жены берутся? Задумайтесь-а-а!..

Уже издалека, уже со стороны.

У Майи бегающие глаза, затравленное лицо, она прижималась к матери, я беспомощно переминался.

— Хулиганов расплодили... Даже тут все испортят...

Негодовала только дюжая невеста, остальные неловко молчали и переглядывались.

В гостеприимно распахнутых дверях загса появилась пара — знакомые старички молодожены. Они застенчиво улыбались.

— А нас уже... Торжественных речей не говорили. Но все вежливо, с пониманием...

— Сенечка! — объявила дюжая невеста. — Наша очередь!

Долговязый парень с неподвижным, деревянным лицом, в пиджаке коробом вздрогнул, огляделся и вдруг повернулся, зашагал прочь от загса.

— Куд-ды-ы?! — вопль в спину с опозданием.

Парень не обернулся — вздернутые острые плечи, упрямый затылок, шаг с прискоком.

— Се-неч-ка-а!!

Сенечка уходил.

— Подлец!! Прохвост!! Сволочь!! Намиловался!! Отъелся у меня. И в сторону!.. Держите его! Держите-те!!

С невестой началась бурная истерика.

Боря Цветик негромко произнес у меня над ухом:

— Кажется, наша очередь подошла.

Свадебный вечер проходил в лучшем ресторане города «Золотой колос». За длинным столом в банкетном зале было тесно. Какие-то Майины тети и дяди, специально прилетевшие из Воронежа. Какая-то родня по матери из совхозного поселка Конево. Кто-то из крупных строительных воротил города — пожилые и степенные люди со снисходительно-добродушными начальственными физиономиями. Ответственные работники помельче, не слишком пожилые и степенные, с откровенным усердием налегающие на коньяк и закуску. Их жены, с умилением поглядывающие на Майю и с оценочным любопытством на меня. Несколько чопорных вытуженных офицеров. Басисто-шумный седой генерал-майор, старый приятель Майиного отца. Застенчивые Майины подружки, школьные и институтские... Из всего застолья я знал лишь Борю Цветика да бойкую Леночку из Комплексного. И еще, разумеется, Майиных родителей — Ивана Игнатьевича, сменившего почему-то внушительный военный мундир с полковничьими погонами на штатский невзрачный костюм, и Зинаиду Николаевну, потерянню улыбающуюся, с материнской тоской в глазах.

У меня же родни — одна мать, и та далеко, не осмелился вызывать. Зато друзей слишком много — все сотрудники нашей лаборатории, есть и помимо них, рассеянные по институту. Не мог же я привести на свадьбу всех скопом, а сделать выбор, кому-то отказать — значит, обидеть. Я пригласил лишь Бориса Евгеньевича с женой, которые были уже моими свидетелями при регистрации в загсе. Жениховская сторона оказалась в явном меньшинстве.

Но Борис Евгеньевич решил, однако, заявить о себе, встал с бокалом — прямой, с внушительно сияющим черепом, на аскетической физиономии привычное властно-профессорское выражение, требующее от аудитории тишины и внимания. И звон вилок о тарелки, перекатный разговор прекратились, все головы выжидательно повернулись в его сторону.

— Дорогие друзья! — начал не без важности Борис Евгеньевич. — Вот я гляжу на родителей невесты и вижу, что нет для них выше желания, чем счастье дочери. Поверьте, так же по-родительски сильно желаю и я счастья жениху. Я в него вложил свои знания, свою душу, смею считать его своим творением. Им счастья... Но его не будет, если не будет между ними уважения друг к другу.

Кто из нас, поживших и знающих, что такое семья, не сталкивался с отсутствием уважения? Кто из нас не задавался вопросом: как его обрести? И лично я осмелюсь тут дать лишь практический совет: соперничайте друг перед другом в уступках! Он уступает ей, она — ему, за счет себя, своего «хочу», «мне нужно», «мне нравится»... Павел Крохалев, мой ученик! Я пью сейчас за то, чтоб для тебя ее желание было важнее своего! В этом я вижу секрет твоего счастья!

За столом поднялся пьяный одобрительный шум, впрочем, столь же воодушевленный, как и после других тостов. Майина мать промокнула платочком слезы, а отец ее вскочил с места, чтоб чокнуться с Борисом Евгеньевичем, и не успел...

— Утопия! — раздался авторитетный бас.

И все дружно снова притихли.

Совершив некоторое усилие, поднялся седой генерал-майор, плотно-приземистый, слегка нахмуренный, уже изрядно краснолицый.

— Утопия! — решительно повторил он. — Он ей уступочки, она ему, да ведь когда-нибудь у кого-то и защежит, пойдет тогда карусель. Нет, и в семье единая воля нужна. Да! Авторитет! Без авторитета как в семье, так и в государстве кар-ру-сель! Не делу учите, профессор!

Борис Евгеньевич двинул в усмешке жесткие морщинки.

— А вы не путаете, генерал, семью или даже государство с армейским подразделением?

— И путать тут нечего. Где сходятся люди, там должен быть порядок, а не анархия. И даже если людей всего-навсего только двое, то и тут без порядка не обойтись. А где порядок — там дисциплина, где дисциплина — там старший. Элементарная логика, товарищ профессор!

— Завидую вам, генерал, так все ясно и просто у вас. И... элементарно.

— А я вам удивляюсь — предложить вместо жизненной позиции игру в поддавки.

Назревало неприятное сражение, в котором навряд ли бы Борис Евгеньевич вышел победителем, но вскочил Боря Цветик, исполнявший обязанности тамады.

— Дорогие гости! Дорогие гости! Совершенно упущение! Мы пили за родителей невесты, но сторона жениха нами обойдена. Предлагаю за здоровье, так сказать, духовного отца Павла, за профессора Лобанова!..

Все облегченно зашумели, сутолочно зашевелились,

потянулись к бутылкам. Секунду генерал стоял хмурясь, затем решительно поднял рюмку, потянулся к Борису Евгеньевичу.

— Наше несогласие на мое уважение к вам не влияет. За ваше здоровье, профессор!

Борис Евгеньевич церемонно встал, они чокнулись, мир был восстановлен.

Рядом со мной пунцовела щека Майи, настороженно блеснул глаз.

Случись схватка, я бы, конечно, не задумываясь, встал на защиту учителя грудью. Но что-то вызывало сомнение у меня в совете, что-то пока неуловимо смутное. Быть может, то, что сам Борис Евгеньевич, так хорошо знающий секрет семейного счастья, сам особо счастливым семьянином, увы, не был. Первая жена ушла от него, когда он был еще безвестным аспирантом. Второй раз он женился, уже будучи профессором. И я никогда не мог понять, доволен ли он в новом браке. Его Анастасия Андреевна была женщиной уравновешенной и домовитой, она ревниво следила, чтоб муж ходил в выглаженных сорочках, не был лишним раз потревожен телефонным звонком. Но ни разу в жизни она не перешагивала порога института, навряд ли представляла себе, чем занимается ее ученый супруг. И конечно же для Анастасии Андреевны его желание было всегда важнее своего собственного, а для Бориса Евгеньевича — как сказать. Похоже, никогда и не выдавался случай проявить благородство — уступить.

Анастасия Андреевна сидела сейчас здесь, за столом, рядом с Борисом Евгеньевичем, озиралась с тревогой и затаенным страхом.

Мы вернулись домой.

Лежал коврик на полу у тахты — центр незримой гармонии, олицетворение уюта.

Майя в пальто поверх длинного белого свадебного платья опустилась на тахту и долго оглядывала потемневшими глазами комнату, наконец произнесла:

— Вот и все.

— Начнем жить, Майка, — сказал я.

Она подняла на меня провально-темные глаза.

— А как это делается?

Вот те раз! Совсем недавно с пылающим лицом — которому нельзя не верить! — Майя клятвенно возвестила мне, что ей открылись наши судьбы.

И я неуверенно решил напомнить:

— Но, Майя, ты же говорила...

— Я говорила, Павел, верю!.. Ох, как верю! Но вот как?.. Как это «верую» сотворить? С чего начать? За что зацепиться?.. Вдруг поняла, что не знаю.

Я молчал, я тоже не знал.

— Твой Борис Евгеньевич сказал хорошие слова, добрые, но... Мне иногда придется настаивать — хочу так, а не иначе. Если я стану во всем уступать, во всем с тобой соглашаться, то что я тогда?.. Твой скучный придаток, Павел, без лица, без характера.

— И прекрасно, не уступай! — согласился я. — А я попробую следовать совету Бориса Евгеньевича — твои желания дороже своих!

На этом и порешили.

Было давно за полночь, начались первые сутки нашей семейной жизни.

7

На следующий день, где-то в двенадцатом часу, в дверь раздался звонок. Первый гость в нашей семье! Я кинулся открывать.

Рыжеватая, не очень опрятная борода, брезентовая рабочая куртка, слишком просторная на узких плечах, — я сначала и не узнал: Гоша Чугунов, с которым мы не виделись больше года. Борода с сивым мужицким оттенком успела вырасти за это время на его подсушенном курносом лице вечного студента.

— Проходи, — пригласил я.

В последний раз мы расстались довольно-таки прохладно, никак не друзьями, хотя и до врагов, кажется, дозреть не успели...

— Я искал тебя, старик, в институте. И вот сказали, что...

Тут вышла Майя в халатике, со всклокоченными волосами, но свежая, с утренним блеском в глазах. Впервые на Гошиной физиономии, сейчас полузакрытой бородой, я увидел растерянность.

— Это тот самый Гоша Чугунов... А это Майя... Моя жена.

Гоша склонил волосатую голову, шаркнул ногой, Майя протянула ему руку.

— Выдать секрет, как он вас мне рекомендовал?

— Наверняка нелестно.

— Почему же?.. Мирным анархистом! Вполне интригующе.

Они много слышали от меня друг о друге, но встретились впервые.

— Проходите в комнату. Я сейчас приведу себя в порядок, выйду к вам, — сказала Майя.

— Она очень красива, — объявил Гоша, когда мы вдвоем уселись на тахте.

Я промолчал, меньше всего я хотел выяснять с ним качества Майи. Гоша никогда просто не высказывал свои впечатления, за ними непременно шли обобщения и выводы, какими он украшал свою жизнь. Чтоб Майя стала поводом для подозрительных философствований — нет, не выдержу.

Однако отмалчиваний он не терпел больше, чем возражений, — пророк по призванию, живущий слушателями, мог ли он сдержаться и не выложить, что просилось наружу.

— Это сирена, топящая людей в житейском омуте.

— Как понять? — спросил я с приглушенным вызовом.

— Тебе придется ей служить.

— А если я скажу: готов это делать?

Он хмыкнул в бороду.

— Служить-то придется не самой богине. Она, право, этого достойна... Но платьям, которые она пожелает часто менять, коврам, по которым будут ступать ее ноги, картинам в золоченых багетах, которые захочет она иметь на стенах. Тобой станут повелевать вещи, старик.

— Тебе не кажется, что ты слишком мало знаешь ее, чтобы предсказывать мне, чего именно она в будущем пожелает?

— Я ее увидел, а этого вполне достаточно, чтоб представить, какая оправа нужна столь драгоценному камню.

— Записной оригинал, ты теряешь свою оригинальность, рассуждаешь самыми избитыми шаблонами.

— Я всегда говорю банальные истины, старик. И одна из таких банальностей: любая женщина — носитель рабства уже потому, что навешивает семейные кандалы.

— Интересно знать, ты сам появился на свет вне семьи? Был подзаборным подкидышем?

— Я родился в самой что ни на есть бюргерской семье, где фарфоровые слоники на комодке олицетворяли уют.

— Ну и слава богу, а то я чуть было не проникся к тебе жалостью.

Рабочая заношенная брезентовая куртка и брюки то-

же рабочие, протертые, с чужого зада, но рабочим этот человек никогда не был. Не из тех, чьим трудом пользуются, с кого много берут, мало дают, общество просто не способно обидеть его. Потому он и считает себя полностью независимым, гордится своим положением — ни пава, ни ворона, видит свой святой долг в обличении тех, кто на него не похож. А не похожи-то любой и каждый.

Первый гость в нашей семье, и, ничего не скажешь, чуткий, сразу же объявил: твое счастье — рабство! Родной брат вчерашнего пьяного страсготерпца: «Берегитесь, братья, своих жен!»

8

После встречи в привокзальном ресторане я раздобыл раскладушку, и Гоша поселился у меня.

Он был убежден, что людям, даже не очень добрым от природы, приятно тем не менее делать посильное добро, а потому ему и в голову не приходило, что он может стеснить. Впрочем, он и в самом деле не стеснял меня — уходил утром, приходил поздно ночью, сытый, довольный собой, не растративший всего запаса красноречия, готовый, если я выражу желание, наставлять меня всю ночь напролет. Это была кошка, которая гуляет сама по себе.

Насколько легко было с ним познакомиться, настолько трудно стать его товарищем, а уж другом закадычным и тем паче. Для дружбы как-никак нужна если не самоотверженность, то хотя бы какая-то отдача. Он же умел только принимать, что дают, взамен же предлагал одно и то же — свои взгляды на мир и на жизнь. Не навязывал их, нет, не хочешь, не бери, тебе же хуже.

Он быстро узнал все рестораны и забегаловки города, пропадал только в них, но ни разу не приходил навеселе, всегда лишь приподнято-трезв.

— Я люблю подвыпившего русского человека, — признавался он. — Подвыпившего, но не скотски пьяного. Подвыпивший обычно становится чутким до жертвенности, он тогда возвышенно ненавидит и возвышенно любит.

Застольные собеседники, судя по его рассказам, быстро раскрывались перед ним, искали у него сочувствия, но не находили и, странно, не только не обижались, а даже чувствовали себя виноватыми.

— Только и делают, что жалуются мне. А если разо-

братся, жалобы людей не стоят выеденного яйца — квартиру не дали, пенсию не выплачивают, на работе неприятности. Тут-то я и объясняю им, как все это ничтожно, не стоит того, чтоб портить себе кровь. Что, например, квартира, как не обворовывание себя? Еще Чехов давно сказал: человеку нужен весь земной шар. А все бьются, из кожи вон лезут, чтоб получить крохотный кусочек, в десяток-другой квадратных метров. А уж раз получил, то будь привязан к нему всю жизнь. Кош-ш-мар-р!

А потому он пользовался только чужими квартирами.

— В наши дни, учти, силой никого не берут в рабство. Стать рабами усиленно стремятся. Да, добровольно! Рабом в наши дни быть проще и уютнее. Свобода — это открытый океан, где продувает со всех сторон, а иногда и сильно качает. Выдерживают немногие.

К числу этих немногих, для кого свобода по плечу, он относил себя. Я же в его глазах — пет, не рвач, не хапуга, обычный раб, работага с дипломом высшего образования, отравленный обывательскими предрассудками добрый малый.

Я пробовал выяснить у него, что, собственно, такое свобода. Сам я придерживался общеизвестного — осознанная необходимость, — но Гоша отвечал с обезоруживающей простотой:

— Я не теоретик, я практик. Иду туда, где ею пахнет.

Мы ночевали бок о бок, беседовали едва ли не каждый вечер, но не сближались, напротив, ночь от ночи мы становились все более чужими. Получалось, первое знакомство в привокзальном ресторане и было пределом нашего сближения, дальше нечто невразумительное. Он этого не замечал — привык жить в окружении случайных встречных.

Я провел полжизни в общежитиях и всегда там родился с людьми, неизбежно находились общие мысли, общие взгляды, одни стремления. Да и будущее, как правило, нас ждало одинаковое. Тут же мы не жили, а присутствовали друг возле друга.

А как раз в то время у меня шло быстрое сближение с Майей, и во мне бурно росло счастливое желание выглядеть в ее глазах красивым и значительным. А значительным могу выглядеть лишь тогда, когда это признают не только она одна, а все, кто окружает меня. Майя, сама того не подозревая, вызывала во мне великую ответственность перед людьми. И рядом со мной человек кичился ничем не связан, никому ничего не должен, довольствуюсь

малым, независим, свободен! Свобода, замешанная на безразличии к другим.

Рано или поздно между нами должно было произойти объяснение. И оно произошло.

Он в очередной раз объявил:

— Я не приобрел себе даже свежевывытой сорочки.

Я заметил:

— Почему ты должен иметь чьим-то трудом созданную сорочку, если сам не дашь ничего взамен — ни горсти хлеба, ни кирпича?

— Я даю нечто большее, старик.

— Что?

— Открываю людям глаза на себя.

— Для этого пужно разбираться в людях.

— Ты считаешь, что я в них не разбираюсь?

— Ты даже в самом себе не разбираешься.

Невозмутимость была его оружием.

— Во мне нет ничего сложного, старик, — ответил он с достоинством, — я весь как на ладони, ничего не спрятано.

— Спрятано.

— Например?

— Мизантропия.

Невозмутимость — его оружие, но тут оно ему изменило. Он посерел и уставился на меня.

— Таковыми словами не бросаются, — наконец выдавил он.

— А давай порассуждаем. Твой принцип: буду посить отрепья, питаться черствым куском доброжелателей, но не свяжу себя никакими обязанностями. Так?

— И где же тут мизантропия?

— Надо быть не просто равнодушным к людям, надо их глубоко презирать, чтоб отказывать — пальцем ради вас не пошевелю. Любой обыватель, заботящийся о собственном брюхе, тут отзывчивее к людям, он хоть о семье заботится, клубничку для продажи выращивает на огороде, а ты — никому ничего! Себя обделю, лишь бы другим от меня не перепало. Откуда у тебя такая фанатическая нелюбовь к людям?

Лицо Гоши стало изрытым, вздернутый нос заострился.

— Я люблю людей не меньше тебя, — сказал он глухо.

— Прикажешь верить на слово? Чем ты доказал любовь?

— Любовь не нуждается в доказательствах!

— Вот те раз! — удивился я. — Ничто так не нужда-

ется в доказательствах, как любовь. Даже простенькую симпатию, чувство по сравнению с любовью неизмеримо более мелкое, и ту докажи, хоть небольшим — добрым словом, мелкой помощью. А в любви, извини, малым не обойдешься, последнее отдай, собой жертвуй.

— Я и жертвую!

— Тепленьким местечком, квартирой, зарплатой — это ты снова хочешь выставить себе в заслугу?

— Хотя бы.

— Тепленькое местечко и зарплату надо как-то оправдать трудом, даже квартира требует забот, но для тебя и это обременительно, даже тут придется насиловать себя. Не лги, что жертвуешь, не выдавай паразитизм за жертвенность!

Он стоял посреди комнаты, долговязый, натянутый, со вздернутой головой, с серым постаревшим лицом, с виющими руками.

— Похоже, мы не можем жить вместе, — выдавил он.

— А мы вместе и не живем. Рядом — да, но не вместе.

— Спасибо за приют, я уйду.

— Разумеется, унося оскорбление?

— Разумеется.

— Что ж ты раньше-то не оскорблялся? Ты же знал, что я не разделяю ни твоих взглядов, ни твоего образа жизни. Я лишь произнес вслух, что тебе было уже известно. Выходит, откровенность оскорбляет, а неискреннее умалчивание — нет.

Он не отвечал.

— Уходи, — сказал я. — Не держу. Но не делай оскорбленных пасов.

— Прощай, — он двинулся к двери.

— Я бы на твоём месте все-таки постарался ответить на «мизантропа». Упрек страшный, с таким грузом не уходят.

Он от дверей оглянулся на меня круглыми остановившимися глазами, дернул плечом, вышел, хлопнув дверью. Благо не нужно было ему собирать чемодан — все свое ношу с собой, как говорили, древние римляне.

С тех пор у него успела отрасти борода, но улыбка осталась прежней — подкупающе открытая — и прежняя бесцеремонность: «Сирена... Навешиваешь на себя канда-

ды, старик!» Философия петуха, увидевшего жемчужное зерно.

— Тебе что-то от меня нужно? — спросил я.

— Хотелось бы вернуть тебе старый долг.

— Ты мне ничего не должен.

— Должен! Помнишь, ты мне навесил на шею «мизантропа»?

— За это время тебя что-то осенило?

— За это время многое произошло.

— Ты переменялся?

— Я переменялся, и люди вокруг меня теперь иные.

По забегаловкам больше не хожу, подвыпивших не ублажаю.

— Уж не сменял ли шар земной на оседлое место?

— Нашел себе опору, помогаю другим найти ее.

— И как она выглядит, эта опора? — осведомился я.

И тут легкой поступью вошла Майя, причесанная, розовая, в белой кофточке, красной юбке, тонкая, как оса, с сияющими глазами и повинно-скорбящей улыбкой на губах. Каждый раз неожиданная для меня, ошеломляющая.

Гоша Чугунов расправил плечи, вздернул вскосмаченную бороденку, уже не мне, а Майе ответил с вызовом:

— Опора — бог!

Майя с любопытством уставилась на него, помятого, пыльного, волосатого.

— Вон куда тебя кинуло! — удивился я.

— К людям! — объявил Гоша.

— Почему вдруг таким сложным кульбитом — через небо и бога на землю, к людям? Покороче путь выбрать было нельзя?

— Короткого пути в душу человеческую нет.

Я невольно поморщился. У меня всегда возникало чувство корящей неловкости за тех, кто афиширует свое посягательство — ни меньше ни больше — на человеческую душу: познать, открыть, полюбить, найти к ней путь! Умилительная детская самоубежденность, нечто вроде: достану луну с крыши. Постигну, что на протяжении всей истории пытались совершить и отчаивались в бессилии лучшие умы человечества.

— И что ты станешь делать в этой человеческой душе? — спросил я.

— Попытаюсь ее, чужую, превратить в братски мне родственную, — ответ с ходу, не задумываясь.

— То есть перекроить на свой лад. Ты так убежден, что именно твоя душа совершенней других?

Гоша покровительственно ухмыльнулся в бороду.

— Я вовсе не предлагаю себя за образец.

— А кого? Бога-то за образец не предложишь — не постижим!

Ухмылка утонула в бороде, глаза посерьезнели, ноздри короткого носа дрогнули, Гоша заговорил:

— Мы все во что-нибудь верим. Одни во многообещающие газетные передовицы, другие, что добьются высокого кресла, третьи — в диплом института, который откроет им дорогу. У каждого своя маленькая вера. Миллионы людей — миллионы вер! И после этого мы еще удивляемся, что не можем понять друг друга: чужая душа потемки! Да ипаче и быть не может. Верим в разное, ничего нет такого, что нас объединяло бы. Меня с тобой, тебя со мной!..

Убежденность со сдержанным пафосом, слова взвешены, интонации вытренированы, явно не в первый раз говорит на эту тему. И не нам первым.

— Можешь ты заставить меня верить в твое? — продолжал Гоша в мою сторону. — В агрохимию, которой ты собираешься осчастливить мир! Да нет, не получится. Во-первых, я несведущ в твоей науке, во-вторых, не универсальна, на все случаи жизни не подходит. Нам обоим надо найти универсальное, единое, одинаково приемлемое как для тебя, так и для меня!

— Бога?..

— Вот именно!

— Он давным-давно найден.

— Давно найден, да его постоянно теряли. Потерян и сейчас. Отыщи снова, вооружись верой в него, прими то божеское, которое известно уже на протяжении тысячелетий: люби ближнего, не убий, не лжесвидетельствуй... Вместе с тобой вооружимся, вместе поверим, станем следовать этому, и тебе не придется остерегаться меня. Мы верим одному, а значит, верим и друг другу. Что это, как не духовное братство? Ты хочешь его? — Гоша дернулся в мою сторону всклокоченной бороденкой, не дождался ответа, дернулся в сторону Майи. — Вы хотите братства?

— Да, — решительно произнесла Майя.

Она стояла, прислонившись к стене, не сводила глаз с вдохновенного Гоши. И в глазах тление, и в губах смятенный изгиб. Кому-кому, а мне известно, как может быть

доверчива Майя и как способен подкупать Гоша при первом знакомстве.

— Братство через бога?.. — переспросил я. — Тогда верующее в бога население, скажем, Италии должно бы быть братски сплочено более нас? Увы, там — как и всюду.

— Назови мне другое, что сплотило бы людей.

— Не много ли ты от меня хочешь? Назови универсальный рецепт спасения человечества.

Гоша холодно отвернулся от меня.

— Я и не рассчитывал, что ты мне поверишь.

— Тогда, извини, не пойму, что все-таки от меня хочешь?

— Ты назвал меня мизантропом... Не поленись прийти по адресу: Молодежная, сто двадцать семь. Мы собираемся по воскресеньям в три часа дня.

— Кто это мы?

— Единоверцы.

— Что-то вроде секты?

— Пусть будет так. Приди, послушай, реши, совместно ли с мизантропством, что я делаю.

— Мы придем, — сказала Майя. — Молодежная, сто двадцать семь. Запомнила.

Раз Майя сказала, так оно и будет. Мне осталось только согласиться.

Гоша распрощался и ушел.

Майя была тиха и озадачена.

— Он очень худ и плохо одет.

— Это предмет его гордости, — ответил я.

— Почему ты к нему так относишься?

— От досады на себя, Майка.

— Как понять?

— Думал — самородок, а оказалось — булыжник.

Майя задумалась.

— Знаешь, — проговорила она, — мне он напоминает Дон Кихота, подстричь бы его бородку клинышком да падеть на голову медный тазик.

— Пожалуй, он и внутренне похож на этого рыцаря.

— И относишься к нему с... неприязнью?

— Скорей с осуждением.

— Но Дон Кихотом-то все, все восхищаются. И вот уже несколько веков подряд!

— То-то и удивительно — все, кроме одного.

— Тебя или есть еще кто другой?
— Сервантес. Он же издевался над своим героем, и никто этого почему-то не замечает.

— Сервантес симпатизирует, не издевается!

— А давай вспомним. Дон Кихот встречается преступников в кандалах — насилие, мол! — освобождает их. А какой результат?.. Преступники избивают его и, нет сомнения, пойдут дальше грабить и насильничать. Благородный рыцарь усугубляет насилие. Или знаменитый эпизод с ветряной мельницей. Тут-то за что симпатизировать? За то, что проявил высшую степень глупости? Сервантес издевается, но с доброй иронией. Да вздумай он всерьез возмущаться своим деятельным дураком, поставил бы себя на один с ним уровень.

— Дон Кихот чистосердечен, а чистосердечие и зло несовместимы.

— Еще как совместимы. Разве не чистосердечно миллионы немцев славили Гитлера, верили ему?

Майя озадаченно помолчала, наконец подняла на меня свои глаза, губы недоуменно дрогнули.

— Одно из двух — или ты прав, или весь мир. Кому же мне из двоих верить?

— Мне, Майка, мне!

Она засмеялась.

— Какой мне муж попался — умней всего мира!

Кончилось ее смехом. Гоша был забыт.

Через полчаса мы шли по улице к ее родителям.

Мы шли по улице, а она жила дневной, шумной, карусельной жизнью. Расплавленное солнце висело над нами, утюжили мостовую тяжелые грузовики, с треском распарывая бензиновый воздух, неслись мотоциклисты, вальяжно плыли осиянные стеклом автобусы. Газетный киоск, пестро украшенный обложками неходовых журналов, как птиц, выпускал из себя в нетерпеливую очередь газеты, они всплескивали белыми просторными крыльями и исчезали.

Наш город — родина Майи. Бетонная, однообразно величавая современность, утопившая в себе незамысловатую старину, он, наш город, служит промышленности, он вечно строится, не устает кричать моторным рыком. Он не богат живописной зеленью и не славится редкостной ар-

хитектурой, в нем много труб и мало памятников, столичные моды на улицах и провинциально скудная культура — картины висят только в ресторанах и ни одного концертного зала. И центральные утренние газеты приходят к нам лишь в полдень.

Наш город — для Майи родина, для меня — доброе отечество. Этот город принял меня, выучил меня, признал меня как ученого, без нежности обласкал, без сочувствия обнадежил. И я благодарен своему городу, люблю его.

Мы шли знакомыми улицами локоть к локтю, плечо в плечо. Бывают же минуты, когда чувствуешь себя центром вселенной: грудь распирает, тело невесомо, ноги упруги, оттолкнись — полетишь! И нельзя согнать глупой, широкой до усталости улыбки с лица. А как несет голову Майю! И скорбную складку губ тоже тревожит улыбочка...

Не в первый раз удивляюсь: как в нашем суровом, бетонном, копотном городе могла родиться она? Возможно ли? Не чудо ли это?

Мы шли по улице, и у встречных менялись лица. У мужчин появлялось — у тех, кто постарше, — остолевшее выражение, помоложе — изумление: «Вот это да!» А женщины невольно начинали улыбаться, как и мы, с той же блаженной радостью. И спиной я чувствовал, как оглядываются нам вслед.

Никогда я не воображал себя красивым, лишь сейчас впервые в жизни — высок, плечист, полон сил, походка победная, под стать во всем Майе. И счастливый — всем до зависти!

Это счастье родилось невольно, оно подарено Майей. Да и бывает ли вообще счастье единорожденное, нутряное? Нет, оно приходит всегда извне — от обмытого дождем листа дерева, от глубокого неба, от содержимого чашечки Пэтри на лабораторном столе и от человека... С людьми чаще всего сталкиваешься, от людей большей частью идет к тебе и счастье и горе. А особенно от тех, кто тебе всего ближе и дороже.

На улицах мы видели лишь добрые лица, искренне изумляющиеся, искренне улыбающиеся, но в автобусе, в котором решили проехать три остановки, наткнулись неожиданно на откровенную злобу. Старик в шляпе, щеки впали, тонкие губы в ниточку, глаза мутно-зелены, долго пялился на нас и не выдержал, зашипел:

— Остолопы смазливые, жареный петух вас в зад не

клюнул. Покрасуйтесь, покрасуйтесь, покуда вам крылышки не прижгет. Закорчитесь... Хе-хе!..

Этот человек был настолько несчастен, что уже не мог без ненависти видеть чужое счастье. Усох от ненависти, истощен проказой недоброжелательства, еще не так уж и стар, но долго не проживет.

Нет, ответной ненависти я не испытывал — отвращение и жалость. И еще панический страх за свое счастье. Оно слишком ярко и неправдоподобно, чтоб длиться долго. Жареный петух в зад не клюнул...

На минуту было испорчено настроение. У Майи сразу стало замороженным лицо, а губы увяли.

Испорченное настроение исчезло, как только мы вышли из автобуса под горячее солнце, на суетную доброжелательную улицу. Снова под ресницами Майи заблестели глаза.

А я вспомнил — не провожаю Майю, как было прежде, чтобы расстаться до новой встречи, не расстанемся ни сейчас, ни вечером, ни завтра, ни через год. Встреча на всю жизнь! И от этого открытия даже закружилась голова, шумно-карусельная улица вместе с многоэтажными домами, расплавленным солнцем стала подниматься и опускаться, как на волне.

Знакомый Майин двор, тенистый, прохладный, пахнущий мокрой землей, только что политой травой и... собаками. Подъезд с оскорбительно невыразительной дверью. Финиш сказочного путешествия мог бы выглядеть впечатляюще.

Мы поднялись по лестнице, на пороге нас встретили Майины родители. Они, похоже, едва ли не час толкались под дверью, прислушивались, не раздадутся ли наши шаги.

Вечером встреча с Гошей Чугуновым мне казалась далеким прошлым, почти стершимся из памяти, постороннее событие для этого бесконечного, ослепительно солнечного дня.

Но Майя, оказывается, ничуть не забыла, собираясь в ванну, спросила меня:

— Помнишь этого в автобусе?

— Охота тебе вспоминать погань.

— Мне интересно знать, почему ты тогда смолчал?

— Я богат, он обездолен. Мне с ним сражаться — да смешно.

— Он не обездолен, он испорчен. От природы, с дет-

ства — пасквозь. Скажи уж лучше, не хотел связываться, и мне будет это понятно.

— И связываться тоже. Но я... в самом деле испытывал к нему жалость.

— А почему к Гоше Дон Кихоту в тебе нет такой великодушной жалости?

— А разве ты не заметила разницы — один лежащий, другой чувствует себя на коне. И не я же, он первый мне бросил перчатку. Я просто принял вызов, Майка.

Ее темные глаза стали матовыми.

— Ты с сюрпризами, — сказала она задумчиво. — То воюешь с благородством, то прощаешь погань. И умней всего мира... без стеснения. Странно.

После такого счастливого дня! И чего это вдруг она? Ну, никак не понять.

Я почему-то в мыслях не допускал, что и сам для нее выгляжу тревожной загадкой: «Ты с сюрпризами...» Также ведь как понять?..

11

В воскресенье мы отправились к Гоше Чугунову. Мне и самому было любопытно: как чудит этот человек, вчерашний философ местных забегаловок, ныне новоявленный пророк?

Майя надела красную юбку и белую кофточку, в которых в прошлый раз встречала Гошу Чугунова. Наряд, обычный для городских улиц, но не будет ли он вызывающе кричащим среди верующих, где даже пророк-вдохновитель носит мятую рабочую куртку?

Молодежная улица начиналась в новом районе пятиэтажными, уныло стандартными домами. Они резко обрывались, и асфальтовое шоссе дальше шло мимо палисадничков с калиточками, бревенчатых стен с мелкими оконцами, крашенных наличников, кособоких сараев, тесных верандочек, крыши под ржавым железом и дырявым шифером, шестов с потемневшими скворечниками и телевизионных антенн. Тихий пригородный угол, которому осталось уже недолго жить — через несколько лет дома из бетонных плит втопчут в землю старые крыши, сарай, верандочки, встанут на их место.

Дом сто двадцать семь ничем не отличался от других домов, такая же перекошенная калиточка, такая же, как у всех, телеантенна на крыше и пыльные кусты отцветшей сирени.

Нас никто не встретил, если не считать собаки на цепи, с ленивой обязанностью тявкнувшей раз-другой из своего угла.

Длинный стол с самоваром, люди над расставленными чайными чашками в чинной посадочке только что собравшихся гостей, еще не успевших освоиться друг с другом. Всем места за столом не хватило, многие расселись по стенам.

К нам быстрым и решительным шагом подошел молодой человек — отутюженный костюм, белая сорочка, широкий цветастый галстук, лицо приятное. Он не спросил, кто мы и зачем, радушно пригласил:

— Прошу, братья... Здесь два свободных стула.

Мы уселись в простеночке между окнами, и я увидел Гошу Чугунова. Он пил чай из большой чашки и о чем-то беседовал с грузным лысым мужчиной, по-домашнему одетым, по-домашнему озабоченным. Заметив нас, Гоша коротко кивнул нечесаной головой и сразу же забыл, продолжал свой разговор.

Нет, кричаще красная юбка Майи здесь никого не привлекала. Тут были девицы и моложе Майи, в джинсах в обтяжку, со взбитыми прическами, парни в приталенных рубашках, с бачками и запущенными волосами, пожилые привычно благополучного вида, и среди благополучных несколько истощенно бледных, откровенно бедно одетых. Все держатся несколько стесненно, переговариваются между собой притушенными голосами, кидают терпеливые взгляды на конец стола — на грузного лысого хозяина, на бородатого всклокоченного Гошу Чугунова. Невольно и я себя ловлю на том, что у меня тоже постно-сосредоточенное лицо. И только Майя с откровенным нескромным любопытством озирается — жадные глаза, губы в потерянной складке. На нее уже исподтишка кое-кто косится с явным сочувствием — верят, что губы ее и в самом деле таят какую-то беду, не случайно оказалась здесь, пришла за утешением.

Наконец хозяин поднялся, навесил выпирающий животик над столом.

— Братья и сестры, — произнес он до певучего тенора проникновенно стончившимся голосом. — Не пора ли нам начать во имя господи нашего Иисуса Христа...

У него грубоватая полнокровная физиономия, в которую прочно впечатаны следы бесхитростных житейских забот. С такой физиономией подобает больше со смаком выпивать стопку водки за плотным обедом, рассуждать о

ценах на картошку и мясо, любить нескромные анекдоты, отзываться на них утробным здоровым смешком. Но теористом кроткий голос и отрешенность, и непривычные слова о господе Иисусе Христе. И общее усиленное внимание, напряженные лица, ждущие чего-то особого, едва ли не чуда.

— Все мы, братья и сестры, живем в грехах, страдаем от грехов наших ближних. И некуда нам пойти и покаяться, как вот только так, собравшись вместе, поглядеть друг другу в глаза, признаться во всем друг другу, друг друга возлюбить, как завещал нам наш спаситель, сын божий. Братья и сестры, взгляните в себя повнимательней! Оставили ли вы за порогом обиды на ближних? Не мучает ли вас и сейчас зависть и корысть? Забудем их, обратимся душой к всевышнему! Проникнемся любовью и найдем в ней утешение...

Над головами поплыли вздохи, столь же разные, как разнообразен был состав собравшихся людей в этой комнате: одни с горечью, другие с облегчением, умиленные и стонущие, нарочито громкие и потаенные.

— Чтоб проникнуться, братья и сестры, настроиться, так сказать, на благодать, попросим для начала сестрицу Анфису спеть нам псалом сто четырнадцатый...

Сестрица Анфиса — явно не из преуспевающих — зеленое вытянутое поношенное личико, ветхая, штопаная и перештопанная белая кофта на хрупких косточках, встала, кашлянула в ладошку и дребезжаще тонким, жалующимся голосом затянула:

Господь услышал голос мой,
Мне ухо преклонил свое,
Я буду призывать его
Все дни мои, все дни мои-и...

Сообщение «господь услышал...», обещание «буду призывать его...» — одинаково слезливой жалобой забитого существа. Мне пронзительно жалко ее и коробяще стыдно — если не засмеют, то проникнутся про себя презрением, нельзя же столь откровенно фальшивить. Но женщины постарше начали горестно сморкаться, а молодежь, без того подавленно смиренная, присмирела еще больше.

Болезни объяли меня,
И муки адские грызут,
В могилу тесную зовут —
Скорбею я, скорбею я-а...

Майя не сводила замороженных глаз с жалующейся певицы, а я поражался тому сопереживанию — искреннему! — какое вызывала в людях бесхитростная, уныло исполненная песенка.

Как, оказывается, много значит игра в человеческой жизни. Из сочувствия к Отелло слез пролито наверняка куда больше, чем пад любым из людей, попадавшим в несчастье. К разыгранной беде человек, право же, отзывчивее, чем к беде настоящей. Кто жалел эту женщину за стеной комнаты, кто замечал ее? А сейчас вот горестно смеются, вздыхают — внимание и подавленность!

Сестрица Анфиса продребезжала свою песенку до конца, опустила на место, оставив в воздухе нечто певнятное — то ли облегчение, то ли разочарование.

И в это-то время раздался голос Гоши, резкий, грубо земной, почти оскверняющий тишину:

— Зачем вы все сюда собрались?!

Собравшиеся колыхнулись, подняли головы, настороженно уставились в бороду Гоши. Никто ему не ответил.

— Вот вы, вы, например, зачем сюда пришли? — с прежней грубостью, бесцеремонно тыча пальцем в девицу с кокетливой белобрысой челкой и хвостом льняных волос, падающим с затылка на оголенную шею. Девица залилась краской до ключиц. — Любопытство вас сюда пригнало?..

— Не-не-ет, — еле слышно выдавила девица.

— Если не любопытство, тогда... тогда несчастье! Пусть даже пустяшное в глазах других, но для вас большое... Или я не прав? Может, вы совсем, совсем счастливы?..

— Н-нет, — снова выдавила из себя девица, краснея уже до мокроты в глазах.

Гоша вздернул бороду, обвел взглядом притаившихся слушателей.

— А кто здесь счастлив? А? — требовательно-командным голосом.

Все молчали.

— Нет здесь счастливых, у каждого есть что-то. Оно точит душу, как червь яблоко. И я не спрашиваю, у кого что. Но знаю, есть! И вы принесли сюда, а зачем? Разве вам кто-нибудь обещал: здесь снимут вашу беду? Кого не любят — станут любить, у кого нужда — привалит богатство, пьющий муж перестанет пить, больной выздоровеет... Кто думает, что это случится, как только вы выйдете отсюда? Есть ли среди вас такие простаки?..

Гоша вызывающе поводит бородой, длинный, песклад-по костистый, узкие плечики вздернуты, ворот клетчатой рубахи расстегнут, открывает голодную ямку в основании худой шеи. И люди опускали глаза под его взглядом.

— Так я вам скажу, зачем вы пришли сюда, вы, ждущие любви, но нелюбимые, нуждающиеся, но не умеющие выкарабкаться из пужды, вы, затравленные своими близкими, больные и просто уставшие! У каждого из вас свое, но каждому не хватает одного и того же. И не столько тяжела ваша беда, сколько то, что ее не замечают, знать не хотят. А вот это уже вовсе невыносимо!

Запрокинув нечесаную голову, Гоша выдержал длинную паузу, заполненную ожиданием.

— Братья и сестры! — произнес он торжественно и размеренно. — Братья и сестры!.. Вот зачем вы сюда пришли, чтобы услышать эти слова. Их услышать и почувствовать, что ты не одинок на этом свете. Оказывается, есть кто-то, который может тебя понять, признать тебя братом. Духовным! Родство духовное куда крепче родства кровного. Сколько братьев и сестер по крови ненавидят друг друга, а разве сын не бывает чужим отцу, отец сыну? Братья и сестры, вы пришли сюда, чтобы сродниться... А как? Как это сделать?..

Гоша распалил себя, лоб и скулы его цвели пятнами, глаза горели. Новый для меня Гоша. Не просит внимания — грубо берет его, не доказывает — повелевает. И даже я забыл все, слушаю. Жадно слушает Майя, подалась вперед, озноб на лице, в изогнутых губах замороженная скорбь.

А люди, те люди, которые только что отзывались горестными вздохами на неумело разыгранную жалобу наивной песенки «Болезни объяли меня, и муки адские грызут...», сидят сейчас обмершие, почти что раздавленные. Как много значит игра в жизни! Тут разыгрывается роль властителя душ, и талантливо, нельзя не признать.

Гоша снова ткнул пальцем в девуцу с белобрысой челкой.

— Я!.. Я могу вам стать духовным братом только тогда, когда мы оба поверим в одно. Если мы будем верить в разное, каждый на свой манер думать, то какие же мы брат и сестра по духу. Мы останемся чужими и далекими. Вы никогда не поймете меня, я вас... А хочется, хочется, чтоб не только мы двое понимали друг друга! Чтобы все

люди на свете почувствовали себя братьями и сестрами! Значит, всем надо верить во что-то единое. Всем во всем мире! Во что-то... Но это не может быть маленьким, если в него должен верить весь мир. Это что-то должно быть великим, непостижимо великим! Может, мы найдем себе великого человека и станем верить ему, каждому слову, каждому жесту? Как бы ни велик был такой человек, но человек же! Он может ошибаться. Придется верить в его ошибки. Он может обижаться, озлобляться, творить несправедливости — и в это верить, это принимать?.. Нет, человеку, пусть даже самому великому, во всем верить нельзя. Что-то должно быть выше человека. Что, братья и сестры?!

— Бог... Бог... — с придыханием раздалось со всех сторон.

— Бог — да! Но многие нам скажут: как верить в бога, если его нельзя увидеть, почувствовать, нельзя понять, существует он или нет? Кто из нас не слышал таких возражений, братья и сестры?

— Слышали... Слышали... Все слышали...

— Почему я должен верить в того, кого я никак не могу определить, есть он или нет на самом деле? Не будет ли моя вера самообманом?

Майя метнула на меня изумленный взгляд, я сам поразился дерзости проповедника — рискованно играет, как же вынырнет?

Эта рискованная дерзость обеспокоила не только нас. Хозяин, сидевший рядом с Гошей, порозовел лысиной и заворочался на стуле всем своим плотным телом. Должно быть, он, истово верующий, не терпел столь прямых и острых вопросов. Остальные же братья и сестры, явившиеся за духовным родством, затаив дыхание слушали.

Гоша-проповедник продолжал спокойно и внушительно:

— А спросим себя, братья, можно ли вообще верить в то, что есть на самом деле? Я вам говорю: этот дом стоит на Молодежной улице. Вы прониклись верой? Да нет нужды проникаться, вы и без меня это знали. Оказывается, нельзя верить в то, что уже известно. Как нельзя хотеть есть, когда уже наелся. Если желание пищи при насыщении сменяется равнодушием к ней, то и вера пропадает перед очевидным фактом. Если б допустить, что мы узнали бога, то вся наша вера в него превратилась бы в утлое знание — есть такой! Быть может, мы какое-то время подивились бы его величию, а потом привыкли, стали бы от-

носиться как к нечто само собой разумеющемуся, то есть равнодушно. Бог непостижим и никогда не будет нами постигнут, а потому вера в него вечна!

— Но в этом сомнение, сомнение есть! — выкрикнул хозяин, все время беспокойно раскачивающий стул плотным задом, и розовая лысина выражала его волнение. — Бог-то, по-вашему, брат Георгий, не совсем, так сказать, несуществующее, воображаемое нечто!

Гоша с высоты снисходительно оглядел розовую лысину.

— У вас сомнение, брат Алексей. У меня его нет — верую в бога, потому что не знаю о его существовании. Верую, не допускаю сомнений.

Хозяин на секунду смутился, он был простоват, однако упрям и, должно, самолюбив, потому, цвеля лысиной, возразил:

— Я верю, верю, что он есть, так сказать, в полной наличности, без всяких там...

— И прекрасно, — великодушно согласился Гоша. — Верьте как умеете. Вы верите, я тоже, в нас одно, а потому мы братья.

Хозяин покряхтел, поскрипел стулом, ничего не возразил, но был явно в некотором сомнении насчет полного братства с Гошей Чугуновым. Зато остальные в том явно не сомневались. Я видел разглаженные лица и горящие благодарные глаза, направленные на Гошу.

Далеко не все поняли его изворотливую логику, да полного понимания и не требовалось. Важно — бог был как-то объяснен, он объединял, значит, каждый чувствовал, здесь собрались не одинокие люди, а единомышленники, соглашаются друг с другом, могут рассчитывать друг на друга, а значит, друг на друга надеяться. И тот, кто рождает надежду, уже не простой смертный — вождь, пророк, а потому к нему горящие глаза, разглаженные лица...

Мы вышли, солнце скрылось за вздыбленными домами той части Молодежной улицы, которая была уже полностью отвоевана городом. Городские дома — дымчато-сумеречны и величавы. А вокруг нас нетронутая окраина встречала вечер. В воздухе висела лиловая пыль. По асфальту проносились напористые машины из города и в город. Перебрехивались по-деревенски собаки. Шли стайками парнишки и девчонки — в расклепанных брюках, буйно патлатые и развязные. Они не догадывались, что рядом объявился пророк, вопрос бытия божия не возникал в их

длинноволосых головах, да и вопросы собственного бытия их еще, видать, не особо волновали.

Вечер наваливался теплый, даже душный, но Майя зябко передергивала плечами под тонкой кофточкой и постоянно оглядывалась назад: пророк застрял в доме, а ей не хотелось так просто с ним расстаться. Да и я был не прочь перекинуться парой слов, распирали возражения, еще новорожденные, не до конца вызревшие.

— Попал в осаду,— сказал я.— Вцепились, быстро не отделается. Пошли.

И Майя послушно последовала за мной к автобусной остановке.

Я ошибся, Гоша Чугунов быстро отделался от почитателей, появился возле нас до того, как автобус подошел.

— Что вы убегаете? Поговорим...

Долговязо-тощий, штаны мешковато спадают с худого зада, борода, прячущая в лице остаток молодости,— для постороннего глаза жалкая фигура. Но мы отчетливо видели в нем следы пережитого величия — не сутулится, движения излишне размашистые, в голосе не обиженность, даже не упрек, а еле уловимая капризность: должен еще бегать за вами.

— Ждешь признания? Что ж, готов признать,— сказал я.— Ты был красноречив. До удивления!

— Я же видел, как ты выносил на физиономии эдакое: эх, приложу! Прикладывай.

И метнул взгляд на Майю, словно пообещал: вот я его! Уж не считает ли он и Майку своей единомышленницей? Больно быстро.

Я спросил:

— Неужели ты искренне думаешь, что вера в одну недоказуемую идею бога способна уничтожить все людские противоречия, какие есть и какие будут?

— Бог, старик, не одна идея, а целый комплекс сложных идей.

— А могут ли быть столь универсальные идеи, которые приложимы ко всему, что возникает и будет возникать между людьми?

— Идея «любви ближнего» разве не универсальна? Разве в благословенном будущем люди, сталкиваясь с ненавистью, не станут вспоминать ее?

— Вспомнят, и что?..

— Будем надеяться победят ненависть в себе.

— Останутся с одной лишь любовью друг к другу? А не опасно ли это?

— Любить друг друга опасно? Ну и ну, договорился!

— А сколько мамаш искалечили своих сыновей неразумной, горячей любовью. Любили в них все, даже пороки, а в результате или олухи, или преступники!

— Но, наверное, любовь, когда неразумна, перестает быть любовью.

— Вот именно. Любящим мамашам разумней было бы проникнуться ненавистью к каким-то поступкам дорогих сынков. То есть ненависть в жизни имеет такое же право на существование, как и любовь. Важно знать, что любить, а что ненавидеть. И тут вера в бога не подскажет — разумеи сам.

Гоша сердито боднул в сторону бородатой головой.

— Старик! Убеждать нам друг друга насчет бога — толочь воду в ступе. Я вовсе не рассчитывал тебя, неверующего, превратить в верующего. Не для того позвал. Хочу, чтоб ты взял обратно свое слово «мизантроп». Люди тянутся ко мне, уходят от меня ободренные и, смею думать, более счастливые, чем были до встречи. Возьми «мизантропа» обратно, и мы расстанемся.

— Я считаю, ты своим красноречием искусно — очень искусно и ловко! — обманул доверчивых. Наобещал братство, которое никогда не сбудется. Мне жаль этих обнадеженных, тебе — нет. Ну так извини, я по-прежнему считаю твоё отношение к людям дурным, безответственным.

В это время подошел автобус. Я взял под локоть Майю, не обронившую ни слова во время нашего разговора. Гоша не ответил и не сделал попытки остановить нас. Мы втиснулись в автобус.

В окно я видел его — стоит, расставив длинные ноги, сутулится, действительно похож на Дон Кихота.

Майя молчала всю дорогу, старалась не смотреть в мою сторону, задумчиво взмахивала длинными ресницами. Молчал и я, не спрашивал — пусть переваривает, сама скажет.

Дома она опустила на тахту, сжала коленями ладони, снова долго молчала, подрагивая скорбящими губами, наконец изрекла:

— Ты видел, с какой жадностью его слушали люди, Павел? А как они изменились все от его слов... Они этой встречей будут много, много дней жить. А кто-то, может, через всю жизнь ее пронесет...

— Пронесет иллюзии, Майка. С иллюзиями человек не может быть защищен, от жизни у таких одни кровоподтеки.

— Без кровоподтеков не проживешь... А тут хоть что-то имеешь, кроме кровоподтеков... Что-то хорошее, Павел!

— Я ученый, Майка, обманывать людей, выдавать желаемое за действительное считаю преступным.

— То-то и оно, что ты ученый...— Лицо ее было утомленно-серьезным.— Уче-ный!.. И ты прав, прав! Возразить трудно — логика железная. Но какая радость от нее, железной?.. От твоего железа холодно на душе. А этот ободранный бородач наплел им черт-те что... Ты думаешь, я не понимаю, какая это путаная чепуха? Но люди-то от нее у меня на глазах красивели! И уверена, сейчас они все тихо радуются. Кроме, конечно, того, с красной лысиной. Ему, вроде тебя, нужны доказательства. До тошноты скучный тип. Радость возьми, а доказательства дай. И слава богу, у тебя хватило ума не кинуться на пророка при людях. Конечно, ты бы его поколотил... железной логикой, штука тяжелая. И сидели бы эти люди сейчас по своим углам, думали: вот муж скоро пьяный придет, сын-балбес школу бросает, денег нет, а семью корми — и ни-ка-ких иллюзий!

Я сел рядом с ней, положил на ее колено руку.

— Майка, давай убеждать, что водородные бомбы — пустяковые игрушки, что океаны не могут превратиться в сточные лужи и что никогда больше к власти не придут новые гитлеры, не будут строиться концлагеря с колючей проволокой, не завертится мировая мясорубка... Ты думаешь, Майка, так уж и трудно людей убедить в этом? Даже особо красноречивым быть не надо, с охотой поверят уже потому, что желанное. Поверят и станут чувствовать себя счастливыми, Майка! Но опасности-то не исчезнут, наоборот, черт возьми, они станут еще грозней, потому что людей усыпили. Да за такое счастье непотревоженных идиотов человечество может поплатиться своим существованием, а уж бед страшных и крови не избежать. Счастье не иллюзиями добывается, Майка, а тяжелым трудом, заботами, страданиями. Да, и страданиями тоже!

Она плеснула мне в лицо темным взглядом.

— Труд, заботы, страдания... С тех пор как себя люди помнят — труд, труд, заботы, заботы, страдания, страдания без конца, а много ли прибавилось в мире счастья?

— Наверно, все-таки прибавилось, Майка.

— Где ты его видишь?

— Испокон веков по России-матушке ходили толпы нищих с холщовой сумой через плечо, стучали под окнами: «Христа ради, па пропитание!..» А ты в жизни хотя бы од-

ного нищего видела? А сама ты мечтала когда-нибудь о куске хлеба?.. И те, что сидели, уши развесив, перед Гошей-праведником, сыты, одеты, работают не по четырнадцать часов в сутки, два выходных в неделю имеют. Пожалуй, что это счастье, Майка. И невыдуманное. Я бы хотел сделать его еще более надежным.

Я встал, убежденный, что поставил точку. Мне уже казалось, что любые возражения тут просто бессмысленны. Но Майя подняла на меня глаза, взгляд ее был внимательным и тяжелым.

— То, что я рано или поздно умру, не иллюзия, не выдумка — голая правда. И повторяй мне ее изо дня в день, заставляй постоянно об этом думать, — да, несчастней меня не будет никого на свете. Мне забыть это нужно, больше того, мне надежда нужна — да, да, иллюзорная! — что моя жизнь будет длиться вечно. Надежда вопреки правде, Паша, вопреки здравому смыслу! Ты ее не дашь, а вот Гоша может...

Странный и неожиданный для меня взгляд — правда, от которой нужно прятаться! Я считал себя представителем объединенного во всем мире племени ученых, с разных сторон, в разных местах ищущего истину. Любое заблуждение для меня враждебно, и чем оно соблазнительней, тем опасней. Должно быть, я не мог скрыть возмущения в голосе.

— Действительность страшна? Да! Но, представь, от нее, страшной и неприглядной, отворачиваются, зная не хотят, иллюзиями ее подменяют. Можно ли после этого бороться за свое существование, Майка?

— Вера в загробную жизнь, бессмертие души, рай, справедливость... Иллюзии, иллюзии! Неужели зря к ним веками тянулось человечество? Не будь их, Павел, наших предков, наверное, такой страх, такая тоска и безнадежность охватили бы, что ни бороться за существование, ни о детях заботиться желания бы не было.

— В загробную жизнь верили, но за настоящую, однако, цеплялись. Много ли было таких, которые предпочитали добровольно переселиться в мир иной? Значит, не так уж и сильна была вера в иллюзии.

— Как ты просто считаешь — раз поверил в иную жизнь, непременно расставайся с этой! Вера в иную, дальнейшую продолжала эту жизнь, как бы поправляла ее самый существенный недостаток — кратковременность.

Майя сидела, сутулясь, упрямо хмурила свои сумрачные брови, стискивала коленями ладони...

Нет, мы так и не пришли к согласию.

Мне тогда вспомнились слова Лейбница: «...Если бы геометрия так же противоречила нашим страстям и нашим интересам, как нравственность, то мы бы также спорили против нее и нарушали ее вопреки всем доказательствам Евклида и Архимеда...»

Мудрый Лейбниц считал — виноваты страсти и интересы. У меня с Майей страсти не столь уж и сильно различались, интересы у нас были в общем-то одни, но вот, поди ж ты, доказать друг другу бессильны.

Ночью полная Луна заглядывала к нам сквозь неплотно задернутую занавеску, свет ее падал на тисненные золотом корешки словаря Брокгауза — Ефрона, гордость моей скромной библиотеки. Майя спала, ровно дышала, подсунув под щеку кулачок. Я думал...

Земля — прекрасная планета, красива и удобна. Во всем бескрайнем мироздании наверняка не найдется для нас второй такой же удобной.

И нет на земле для людей врагов, побеждены все.

Нет врагов, кроме самих себя.

Понять друг друга — значит себя обезопасить.

Понять друг друга — достигнуть совершенства!

Но не странно ли, что даже я и Майя в чем-то не можем договориться, два любящих человека! А как тогда договориться между собой миллиардам?..

В те дни я был счастлив как никогда. А наверное, чем больше человек счастлив сам, тем настойчивей и беспокойней он думает о счастье других. Нет, не из альтруизма, а во имя сбережения своего собственного счастья. Только вместе со всеми оно еще может оказаться надежным.

Ночь. Пробивающаяся Луна. Спящая рядом Майя.

Глава третья

ПОЛДЕНЬ

1

Я взял себе отпуск, у Майи продолжались каникулы. Мы строили планы путешествия.

Я предлагал захватить палатку, раздобыть по дешевке

простую весельную лодку... Нас понесет мимо тихих деревень, сельские колокольни станут провожать нас с берегов, будут костры с окуневой ухой, будут розовые расветы.

Но Майя решительно возражала:

— Не хочу, чтобы наша жизнь начиналась скромненько под ракиновым кустиком...

Из своего города она выезжала только в Сочи и Сухуми вместе с папой и мамой. Москва, Ленинград, Новгород, Псков, Рига — вот заветный маршрут!

— Хочу торжественной увертюры!..

В Москве к нашим услугам свободная квартира — Майина тетка с мужем каждое лето проводят в Кисловодске. В других же городах нас никто и ничто не ждет. М-да-а, увертюра...

Шел наш медовый месяц. Не обольщайтесь названием — в медовый месяц обычно вкушают первую горечь.

Два человека со своими привычками, своими взглядами и особенностями сходятся вплотную, и почти невероятно, чтоб они во всем совпадали, не давили, не причиняли друг другу неудобств, досады, болезненных ощущений. Еще вчера он считал — она сверхидеальна, она — он исключителен, неповторим, старались показать себя с самой наилучшей стороны, в самом возвышенном качестве. Вчера это было еще можно, а сегодня уже приходится решать мелкие житейские вопросы, поступать не исключительно, а привычно, проявляя себя не с парадной, а с будничной стороны. Удивительно ли, что восторженность уступает место разочарованию?

Медовый месяц — крушение идеалов, отрезвление. Берегитесь медового месяца — именно в нем проступают трещины, которые могут обрушить здание семьи.

Я вспомнил совет моего добрейшего Бориса Евгеньевича: «Соперничайте в уступках... Ее желания для тебя должны быть выше своих!» И я уступил Майе скрепя сердце, предчувствуя осложнения.

2

Тихое окраинное место Москвы. Просторный светлый переулок с громадными, как отвесные горы, домами в самом конце проспекта Вернадского, от него две остановки на метро до университета и далеко до центра.

Мы заняли двухкомнатную квартиру уехавших в Кис-

ловодск Майкиных родственников. Одна стена была сплошь увешана ярко раскрашенными масками, улыбающимися, плачущими, оскаленными, монголоидными, негроидными, совсем сатанинскими. Муж Майкиной тетки работал инженером-механиком на заводе точных приборов, а дома с помощью бумаги, красок, клея и лака творил эти маски, преувеличенно гневающиеся, издевательски радующиеся. А на полках половина книг на французском языке — Майкина тетка преподавала его в одном институте. Вокруг следы давно устоявшейся жизни, по-своему содержательной и, право же, красивой, но далекой для нас. Я удивлялся особенно маскам, хотя не скажу, чтоб они уж очень нравились своим сатанинством. Майя много о них слышала и раньше — одна из таких масок даже висела у них дома как подарок, — потому отнеслась довольно равнодушно и поторапливала меня:

— Нечего нам торчать возле этих харь, пойдем брать приступом Москву.

И мы пошли брать приступом...

Майя захотела пройти к Ленинским горам через университет.

Я и раньше бывал в новом университете — однажды на расширенном симпозиуме биологов и дважды по поручению нашего ректората утрясал какие-то не слишком сложные вопросы. Каждый раз подходя вплотную к центральному зданию, странно, я испытывал почти восторженное чувство собственной ничтожности — подъезды великаны, не для простых смертных; колонны уже не монументальны, а обременительны для земли, холодеешь, представляя их давящую тяжесть; стены нависают над тобой всей своей запредельной устремленностью и, кажется, падают на тебя, но с той величавой медлительностью, которая несравнима с твоей короткой человеческой жизнью. Циклопическая цитадель науки, она для меня некое наглядное олицетворение научных свершений, открывших нам столь величественное, по сравнению с которым мы сами себя чувствуем чем-то микроскопически несущественным.

Похоже, что и Майя, впервые столкнувшись с новым университетом, испытывала то же самое. Она притихла, растерянно озиралась, запрокидывала голову, подавленно молчала, и в губах ее отчетливей, чем всегда, проступала беззащитная страдальческая складочка.

— Хотела бы ты тут учиться? — спросил я.

Она помолчала, ответила неуверенно:

— Мне кажется, я бы тут совсем затерялась.

Но вот университет остался за спиной, мы пересекли шоссе, приблизились к каменному парапету, и перед нами — Москва, необъятная, вкрадчиво тонущая в мутных далах и какая-то затейливо игрушечная. По черной реке плыли лебедино-белые речные трамваи, патужно тянулись неумеренно длинные баржи, груженные ярко-рыжими кучами песка, висели прочно-сквозные мосты, и, пока хватает глаз, как причудливый каменный сад, в истоме ли, в дремоте ли замерли за рекой сросшиеся друг с другом дома. И глаз вырывает из них то застенчивые купола Новодевичьего монастыря, то обойму труб теплостанции, то дымчатые силуэты высотных зданий. Великий город отсюда выглядит не пугающим, а зовущим, чувствуешь себя над ним великаном, почти господином. Смутные дерзкие желания кружат голову...

Неожиданно на нас нахлынула шумная толпа — мужчины в черных, не по сезону костюмах, женщины в ярких платьях... и невесты, невесты, не одна, не две, сразу несколько, все в белых свадебных платьях. Мы и не заметили, как к обочине подкатили разнаряженные в алые ленты машины с болтающимися детскими шарами и куклами-голышами на радиаторах. Оказывается, Ленинские горы — место паломничества молодоженов.

Я переглянулся с Майей и понял — она, как и я, испытывает сейчас что-то вроде умудренного снисхождения к женихам и невестам, окруженным суесящимися родственниками: у нас это уже позади, мы на шаг дальше ушли по жизни, а значит, на шаг их ближе к старости. Ощущение превосходства и роковой необратимости.

Смех, шум, толкотня, крики и обидное невнимание к раскинувшейся Москве. Наконец прибывшие стали разбираться на кучки — на каждую по невесте! — и фотографы в рьяных позах стали целиться на них объективами, запечатлевали великий город для брачного фона.

Мы полюбовались и не спеша двинулись под тенистой зеленью Воробьевского шоссе к метро, к одной из самых красивых станций, нависшей над рекой. Через каких-нибудь полчаса мы будем далеко отсюда, в центре каменного сада, который сейчас тонет в мутной дымке.

У Майи лучились глаза, губы обмякли, таили улыбочку.

Она ждала от Москвы щедрых подарков...

Москва должна подарить ей Плисецкую в Большом те-

атре: «Буду рассказывать о ней своим внукам — видела великую артистку века».

Москва должна подарить ей театр «Современник» и Театр на Таганке: «Я слышала о них легенды, теперь хочу видеть эти легенды своими глазами!»

Москва должна подарить Третьяковку и Рембрандта в стенах Музея имени Пушкина...

Ну а помимо всего этого, Майя еще ждет от Москвы сюрпризов, сама пока не ведает, каких именно.

Вот сюрпризы-то сразу и посыпались, как только мы проникли в глубь Москвы...

Великой артистки века в столице не было — то ли она выступала где-то за границей, то ли где-то отдыхала.

Но в Большой театр, хотя бы и без Плисецкой!..

Увы, практически невозможно. Учреждения, занимающиеся обслуживанием иностранцев, закупают почти все билеты.

А «Современник» на гастролях.

А Театр на Таганке банальным образом ремонтируется.

Лето — мертвый сезон.

И был вечер, и было утро: день один! Он начался для нас парадом Москвы, а затем целиком ушел на выяснение неутешительных обстоятельств.

Но Третьяковку-то от нас Москва спрятать не могла...

На следующее утро мы устремились к знаменитому Лаврушинскому переулку и... оказались в хвосте длинной очереди.

Говорят, что Москва ежедневно пропускает через себя около двух миллионов проезжих. Если из них всего один процент пожелает посетить Третьяковку — уже двадцать тысяч человек! И москвичи тоже ведь в нее набегают...

Стайки пионеров под надзором ретивых вожатых, бородастая степенная молодежь и суетливые безбородые старички, интеллигенты и рабочие парни, простые солдаты и офицеры всех званий, сельского вида семейства — папы, мамы, детишки, иногда с престарелыми бабушками и дедушками, — все сословия, со всех мест огромной страны. Мы встали в очередь утром, а переступили заветный порог, когда солнце перевалило за полдень.

В залах душно и тесно, известные картины в осаде, к ним надо пробиваться...

Но Майя сразу же «взыграла», лицо ее запылало, она крепко схватила меня за руку. Ни разу еще не бывавшая в этих залах, она знала Третьяковку наизусть и к каждому художнику относилась или с воинственным восторгом, или

с не менее воинственным пренебрежением, а иногда и с тем и с другим сразу.

— Ты посмотри, как нагреты солнцем тела мальчиков! — говорила она вздрагивающим, упругим голосом, новым для меня. — И обрати внимание, никаких коричневых тонов, тени цветные... А вот этот этюд скал — какое судорожное море! Ты видишь, что оно минуту назад было иным, иным станет через минуту. Это и называется — живет! И учти, Александр Иванов работал задолго до импрессионистов. Моне и Ренуар, наверное, на свет еще не родились, когда писался этот этюд. На полвека мир обогнал! Создавал чудеса, а для чего? Чтоб сотворить — о господи! — сухую и холодную картинищу. Да, да, «Явление Христа»! Парад-алле на южном ландшафте. Не хватает только духового оркестра, чтобы грянул туш. А какая выписанность — складочки, пяточки, математика, а не живопись. Гений, ухлопавший всю жизнь, чтоб стать бездарностью... Зато уж монументальной, ничего не скажешь.

Горящие щеки, прыгающие блестящие глаза и рука, вцепившаяся в мою руку. Все, чем богата, что копила в себе полжизни, сейчас выплескивала на меня со страстью, до дрожи в голосе. И я, зараженный ею и ею подавленный, покорно шел за ней сквозь толкущихся зрителей — слепец за поводырем, ведущим в мир прекрасного.

Но это кончилось неожиданно.

Мы протолкались в зал Крамского, я издали увидел «Незнакомку» и потянулся к ней. Неискушенный в живописи, я, пожалуй, из всего, что встречал на цветных вкладках журналов, в случайных монографиях, попадавших мне в руки, любил более всего, увы, бесхитростную «Рябинку» Грабаря и эту «Незнакомку». «Рябинка» напоминала мне мое далекое деревенское детство, а «Незнакомка» у меня была своя... Та самая — в автобусе! Светлый след остался от нее, до сих пор радостно, что эта женщина где-то живет на белом свете — дай бог ей счастья. Сталкиваясь с репродукцией «Незнакомки», я каждый раз поражался — другой человек в другом веке пережил, оказывается, то же самое.

Я потянулся к «Незнакомке», а Майя воинственно фыркнула:

— Тебя интересует эта кокотка в коляске?

— Почему кокотка? — оскорбился я.

— Стасов ее так называл.

На Майю я оскорбиться не мог, но зато сразу же проникся лютым недружелюбием к Стасову.

— Пень же он был, однако. Красивый цветок видеть приятно, а тут человек!

С величавым спокойствием глядели из-под приспущенных ресниц прекрасные глаза — на меня в толпе, чужого ей, минутного, минутный взгляд!

А у Майки вдруг пропала воинственность, она сразу же как-то увяла. Должно быть, до сих пор во взведенно-восторженном состоянии ее поддерживало чувство ответственности — без нее, поводыря, могу заблудиться, указывает путь слепому, дает зрение! А слепой, выходит, лишь притворялся слепым, обманывал — напрасные усилия, ненужное усердие. И духота, теснота, чужие сплоченные спины, через которые надо пробиваться. И обилие картин, вглядывайся в них с напряжением, ищи то, что должно волновать тебя — да за этим же сюда и пришел! — утомительно. Внезапно наступило пресыщение.

Нам бы после этого следовало уйти сразу же подобру-поздорову — унести с собой то, что уже получили. Воистину хорошего понемножку! Но мы-то прилетели сюда за тысячу с лишним километров, когда-то еще нас занесет в эти стены снова, грешно не посмотреть все. И мы, преодолевая усталость, борясь с отупением, насилуя себя, пошли толкаться дальше, глядели, глядели — картина за картиной, зал за залом, с добросовестным упрямством, по обязанности.

Майя уже не тянула меня, не пыталась объяснять, изредка вяло роняла слово, другое, тяжело опиралась на мою руку.

Вышли на волю, волоча одеревеневшие ноги. Майя молчала, лицо ее было бледно и равнодушно, губы капризно-вялы. В воздухе висел запах разогретого асфальта и бензинового перегара. За рекой, от которой не веяло свежестью, на заходящем солнце истекали жарким жидким золотом купола кремлевских церквей.

И был вечер, и было утро: день второй!

Наш следующий день начался под прохладными сводами Музея изобразительных искусств. Здесь не было такого столпотворения, как в Третьяковке, людно, но без духоты и толкучки, можно бы никуда не спешить. Но Майю залихорадило. Она лишь слепо покружилась по залам древнего искусства, выскочила к картинам, остановится перед одной, начнет всматриваться, и на лице сразу же проступает мучительное выражение. Минута, другая, и она срывалась:

— Идем к Рембрандту!

Но через несколько шагов снова застывает, снова мучительно всматривается, выскивает, решительно встряхивает волосами.

— Идем к Рембрандту!..

Вот и он, наконец-то, вымечтанный Рембрандт. Я ждал чего-то оглушительно великого, но заветные картины ничем в общем-то не отличались от других — неприметно малы, не яркие, скромны до обиды. С черных полотен, как из тьмы веков, тускло проступали старчески изрытые лица, старчески натруженные руки.

Майя замерла, как охотничья собака перед дичью, стояла долго-долго, тревожно поблескивая глазами. И все та же гримаса мученичества... Глубокий, почти с детским всхлипом вздох, растерянный тихий голос:

— Странно... Совсем странно... Мне сегодня все что-то не нравится. Даже Рембрандт...

Решительный поворот на каблуке.

— Идем!

Я думал, что она зовет меня смотреть дальше — других художников, иные полотна. Но она, кружа по залам, стала искать выход.

Мы схватили такси, Майя попросила шофера:

— По театральным кассам... Ко всем подряд, какие знаете!

И пошли мелькать улицы и площади... Такси останавливалось, Майя выскакивала, я покорно тащился за ней. Впервые я увидел гордую Майю в роли униженной просительницы:

— Очень вас прошу!.. Очень!.. Всего два билета в Большой... Куплю с любыми дополнениями, хоть на футбол... Мы гости здесь, всю жизнь мечтала...

Я слушал и страдал — ничем не мог ей помочь.

Шофер такси, пожилой, грузный, с несколько брюзгливым выражением на полной физиономии всеведующего и все видавшего человека, оборвал свое невозмутимое молчание, презрительно проворчал:

— Так вы весь свой отпуск проездите, пинжаки... Вечером перед театром потолкайтесь, авось на барыгу наткнетесь... Все вернее.

Москва, раскаленная, душная, сутолочная. Летняя Москва, обильная проезжим людом, гонящая от себя москвичей. Москва снисходительна к тем, кто врывается в нее с делом, и беспощадна к тем, кто наезжает ради нее самой — познакомиться со столицей. Великий город не терпит сан-

тиментов, новичка душит многолюдьем; в магазинах очереди, в кафе очереди, на тротуарах толкучка, беги, беги и не смей остановиться.

В Москве-то у нас есть хотя бы крыша над головой, а что будет в других городах?..

Майя не потянула меня вечером под колонны Большого театра в расчете на барыгу, вынимающего из рукава заветные билеты. Нечего ни смотреть, ни делать. Пора ехать дальше... в общем-то не слишком солоно хлебавши.

Впереди Ленинград...

Я не заговаривал с Майей. Нет нужды напоминать, что оказался прав. Сама вот-вот созреет — убитый вид, подавлена, замкнуто молчалива.

И был вечер, и было утро: день третий!

3

Утром Майя не захотела вставать, лежала в постели растрепанная, с поблекшим, неуловимо асимметричным лицом. На нее со стены уставились гримасничающие лики, все кричащие яркими красками и каждая со своим оскалом — с гневом, ужасом, с угрожающим торжеством.

Кажется, «дошла». Пора.

Я подошел к Майе. Она глядела на торжествующие маски, в их пустые глазницы, в их ощеренные пасти, меня словно бы и не существовало.

— Майка, давай думать...

Она не пошевелилась, не повела глазом.

— Ты меня слышишь, Майка?..

Прежняя замороженность, взгляд мимо, на маски.

— Обсудим сейчас и повернем все по-другому.

И она взвилась — раскосмаченная, глаза провалились, лицо — зеленъ, точь-в-точь как маска — сплошной оскал.

— Т-ты!.. Т-ты!.. — задыхаясь. — Т-ты всегда таким будешь? Недотепой!.. Не мужчина, мальчик-паинька! За бабьим подолом послушно таскается!.. Повернем?! А что мы видели? Чем ты мне помог? С постной рожей бродил следом, хвост бабий!.. И радовался про себя! Ра-адовался!!

Ее лицо как-то странно сдвинулось, подбородок ушел в сторону, губы растянулись, утратили свой изгиб, а глаза темные, сухие, враждебные, жгущие. Она задыхалась.

— Видел!.. Видел же!.. Как я бьюсь! Знаешь же, как мне дорого!.. И плевать, плевать, даже доволен — на, получи! Пальцем не ударю, чтоб помочь...

Я затылком чувствовал глумящиеся маски за своей спиной. И Майино лицо, безобразное, как маска! Она выкрикивала рваные бессмысленные фразы...

Я повернулся, двинулся к двери. Маски провожали меня немотным хохотом.

Навстречу мне двигались прохожие, потусторонние люди, с которыми я никогда больше не пересекусь на пути.

Борис Евгеньевич, мой учитель, благословил меня: пусть ее желание будет тебе дорожке своего, и ты обретишь мир и покой!

Обезображенное лицо, представить бы не смог, что увижу таким...

Солнечный день, идут редкие встречные, и каждый встречный счастливее меня. А совсем недавно я свысока смотрел на всех — нопу в себе то, чего другие и не подозревают, что бывает подобное в жизни.

Улыбка мироздания на небе и ее изломанные губы, вызывающие о помощи. Было это!..

Какими странными голосами кричали тогда лягушки...

А утро, невозможное утро, не случилось такое видеть даже во сне — чистый, чистый, праздничный город под розовым океаном...

Единственная средь людей —
Жизнь дающая!..

Было! Было!..

Потеряно.

Неужели?.. Так сразу? В одну минуту?

Солнечный день, и я на мостовой, толкающий перед собой собственную тень. Я не хочу вспоминать ее обезображенное лицо с чужими, бесформенно растянутыми губами... Лицо, поднятое к луне, лицо сотканное из света... Волосы ее тяжелы, волосы ее насквозь пропитаны ночным мраком... И серебром тогда отливали белки ее глаз... Не хочу! Не хочу! Бережно перебираю обломки: было! было!

На обочине «Запорожец», умытый, самодовольно сияющий, сентиментально голубой. Возле машины на асфальт брошен объемистый мешок, резиновые сапоги, разобранные бамбуковые удочки со спиннинговыми катушками. Хозяин самодовольно-сентиментального «Запорожца», вещмешка, сапог, удочек, долговязый мужчина в выгоревшем до рыжины берете и теплой — не по жаре — старой кожанке, выбирал из связки ключи, чтоб отпереть машину.

Его полное лицо было размякшим, в крупных руках нетерпение — рыбак, собирающийся на рыбалку, переживающий счастливую минуту, впереди у него свобода, впереди время, отданное страсти. Он не может быть сейчас не отзвучив.

Я остановился. Мне, отчаявшемуся, захотелось погреться у чужого счастья.

Неужели у меня все кончено? Все? Бесповоротно?..

Хозяин «Запорожца» раскрыл багажник и стал в него втискивать вещмешок, сапоги; лицо его, изрытое морщинами, выражало сейчас озабоченность священнодействия.

Кончено? Из-за чего! Нелепость же!.. Кому рассказать, разведут руками: экая ерунда!.. Во мне, кажется, начало прорезаться сомнение: а кончено ли?..

Удочки в багажник не влезали.

— Не габаритны. Тесна коробочка,— сказал хозяин без огорчения.

Я с завистью его спросил:

— Далеко?

Он уловил мою зависть, наверняка возгордился про себя своим нехитрым счастьем, может быть, даже в душе пожалел меня.

— Один день отгула — далеко не сорвешься. На Михайловские пруды выскочу, километров сорок отсюда. Утром вернусь.

— А в отпуск куда вы, москвичи, ездите?

— Для меня святое место — Валдай, деревня Нелюшка, восьмое чудо света, стоит сразу на трех озерах. Слышали такое?..

И у меня все внутри напряглось, как перед прыжком вниз с высокой крыши. Деревня, стоящая сразу на трех озерах. Действительно.

— А поездом туда можно? — спросил я.

— С Ленинградского вокзала... Триста с лишним километров, вот и считайте, сколько проедете.

Но захочет ли она разговаривать со мной? Согласится ли?..

А нужно ли мне теперь спрашивать ее согласия?

— Спасибо тебе, друг,— сказал я проникновенно и торопливо отошел.

Хозяин «Запорожца» кинул мне в спину озадаченно:

— Пожалуйста.

Я вдруг увидел, что небо над крышами домов засасывающе синее, что день яростный, что даже здесь, в городе, среди асфальтовых мостовых, деревья обильно зелены,

Все кончено!.. Ну нет, погоди! В охалку возьму, вынесу — в деревню Нелюшку, на Валдай! На трех озерах стоит деревня, возможно ли такое?.. Никаких возражений! Силой!.. На руках! Да знаешь ли ты, что значит при свете костра в ночи глядеть друг другу в зрачки? Далеко люди — ты, я и огонь, никого боле! Не с первобытного ли костра в ночи родилось то, что впоследствии получило название — любовь к ближнему. Ты, я и огонь в темном мире — как не чувствовать себя едиными!..

Из-за угла вынырнуло такси, я вскинул руку.

— На Ленинградский вокзал. Побыстрей, если можно.

Через три часа я, потный, растерзанный, ввалился, сгибаясь под грузом раздутого новенького вещмешка. Сбросил его у порога, не снимая шляпы, шагнул в комнату. Я больше всего боялся, что не застаю ее — ушла одна толкаться по Москве назло мне и себе, лишь бы выдержать характер.

Нет, никуда не ушла, сидела сиротливо на неприбранной кровати, поджав под себя ноги в нейлоновых чулках, туфельки стояли на полу. И по-прежнему разглядывали ее, издевательски гримасничая, крашенные рожи со стены. А лицо ее сейчас было просто замученно-бледным. Да была ли она безобразна, кричала ли, задыхалась от ненависти? Не верится! Жаль ее, хоть плачь.

— Собирайся!

— Куда? — слабым голосом, с потухшей строптивостью.

— На поезд.

— Но...

— Быстро шевелись! Чемоданы с тряпками останутся здесь, на обратном пути заберем. Эти туфли — к черту! Наденешь кеды, купил тебе и себе... Влезай в джинсы, захвати с собой свитер. Возьмем здесь две простыни и два одеяла — вернем!

— Но...

— Никаких «но»! Поворачивайся! Такси ждет у подъезда. Времени до отхода поезда в обрез!

Уже одетая и обутая мною по-дорожному, она, выходя, удивилась объемистому рюкзаку, который я взваливал себе на спину:

— А это что?

— Консервы.

— Какие консервы?

— Обычные: свиная тушенка с фасолью, щи...

— Зачем?

- В Нелюшке навряд ли есть магазины и столовые.
- В Нелюшке?.. В какой Нелюшке?
- В той самой, что стоит на трех озерах!

4

Нелюшка — земля обетованная! К ней, к ней, только к ней! Душный набитый вагон поезда, полдня в тихом Валдае. Обычный районный городишко — низенькие тесовые, пиферные, железные крыши, среди них выдаются учрежденческие здания в несколько этажей, — по нельзя отделаться от ощущения, что он, тихий Валдай, стоит на самом краю земли. С одной стороны за домами навалилась необъятная пустота, кажется, там только небо, и ничего больше, стоит выйти за город, и упрешься в его непостижимую твердь. Нет, до неба далеко, однако земля и в самом деле здесь кончается — начинается озеро, синее, под небесный цвет. Первое из валдайских озер, которое мы видим.

Полдня в Валдае ушло на разговоры с шоферами грузовиков.

— Закинь нас, браток, в Нелюшку.

— Не попутно, парень.

— Уж как-нибудь, а мы сговоримся, в обиде не останешься.

Почесывание в затылке, вздох.

— Не-ст. Далеконько от шоссе, чуть дождик брызнет — вам что, мешки на спину и пошли, а мне куковать среди дороги. Может, поближе куда?..

К ней, к ней, только к Нелюшке! Ничто другое меня не устраивало.

Наконец один из шоферов дал себя уломать — Майя в кабине, я в кузове, в компании с многопудовой бочкой живицы, которая при первых же ухабах проявила зловещую агрессивность, старалась всей тяжестью придавить меня к борту, сокрушить ребра.

Дорога, как только свернули с шоссе, пошла по берегу озера. На закате проехали мимо старинного монастыря. Он стоял на острове, стены и купола подымались из вечерней покойной воды, отражались в ней — красив и недоступен!

Мы въезжаем в былинное прошлое, а лишь сутки назад осатанело топтали кипучий асфальт, пробивались сквозь нескончаемо бегущую толпу прохожих, мотались

на такси по угарным, стадно ревущим, машинным улицам: тупые скаты чудовищных размеров, нависшие — рожки монстров — радиаторы, угрожающе устремленные стрелы самоходных кранов, моторизированные лавинные атаки через перекрестки по бесшумному знаку светофора... Мы сделали крутой вираж во времени и покинули напористый двадцатый век — застойный закат и дремотные купола, вот-вот поплывет по гладкому озеру малиновый звон. Стой! Хватит! Здесь хорошо и покойно. Так можно укатить в первобытность, в глухое и неказистое младенчество человечества! Но расхлябанный грузовик тащит нас, не желает останавливаться — мимо заката, мимо обмерших куполов. И прижатая к борту бочка с тяжелой живицей вырывается. Некогда любоваться былииностью, надо воевать. Я охочусь за бочкой, бочка — за мной...

Утомительная одиссея окончилась ночью в громадной мрачной избе некой тети Паши, заспанной и встретившей нас без особого воодушевления:

— Недельку поживите, а там ищите другую фатеру. У меня, ребятушки, постоянные квартиранты, кажное лето из Москвы наезжают. Вот-вот прикатят.

— Нам бы лодку достать, на озере жить будем.

— Лодку можно...

На следующее утро мы разглядывали Нелюшку.

Лениво, но упрямо поднимающиеся вверх поля вместе с разбитой дорогой (по которой мы и добрались сюда) неожиданно заканчиваются могучим, безбожно измятым холмом. За его крутым горбом вольно расселись избы с просевшими крышами. Маленькими оконцами они глядят в темную воду вытянутого, но неширокого озера. Оно так и называется Нелюшкинским, уходит недалеко за пределы деревни и упирается... в другое озеро, уже куда более обширное, заливающее кустарниковые и мелколесные пустоши. Два озера разделяет лишь крутой вал, шириной шагов десять, от силы пятнадцать; жесткая травка на нем, лобастые валуны, искривленный можжевельник. А стоит пройти в противоположную сторону, взойти на взлобок, и за последним домом, за черной банькой, утонувшей в крапиве, стремительный склон, по нему ныряющая веселая тропинка к воде. И дали, дали, притуманенные лесистые берега, темные глубины и просвечивающие кое-где рыжие песчаные отмели — просторные мир воды и неба, дух захватывает! Нелюшка — восьмое чудо света, воистину!

Майя долго вглядывалась, жадно и вдохновенно, ветерок шевелил ее упрямые волосы. Она с силой выдохнула:

— Хочу во-он туда! — И вскинула руку к далекому дымчатому берегу, и в голосе ее появились знакомые мне повелительные нотки.

— Поплывем туда, где больше всего рыбы, — возразил я.

Она промолчала, почтительно и виновато — диктую я, ей надлежит повиноваться.

— Пошли в деревню, надо договориться о лодке.

И вот мы плывем по озеру, клацают и скрипят расхлябанные уключины. Лодка старая, протекает, Майя время от времени вычерпывает ржавым солдатским котелком воду. Рядом с ней на корме и наш вещмешок. Когда я его вносил в лодку, Майя удивилась:

— А зачем его брать?

— Мы не возвратимся в деревню ни сегодня, ни завтра, скорей всего и через неделю тоже...

— Но где же мы будем жить?

— Под открытым небом, точнее адреса сказать не могу. Сам не знаю.

Посреди залива, длинного, как река, стиснутого с одной стороны крутым травянистым берегом, а с другой — могучим тенистым ивняком, я бросил весла и достал нейлоновую леску с блесной, за отсутствием специального станочка намотанную на обломок штакетника, протянул Майе, кратко объяснил:

— Это дорожка. Когда лодка тронется, не спеша распускай.

— А потом что?

— Потом сиди и жди, начнет дергать — выбирай. Задача не хитрая.

Я взялся за весла, она с усердием принялась разматывать.

— Ой, как красиво блестит в воде железка!

Мое детство прошло на маленькой нутристой речке Пыжма, каждый парнишка в нашей деревне — рыбак, ловили не только ради ребячьей забавы, ельцы и окуньки в голодные годы, право, выручали, как-никак на стол ставились не пустые щи из крапивы и щавеля, а жидкая ушица. Однако рыбаком я как был, так и остался по-ребячьи не просвещенным, до сих пор не знаю городских ухищрений, впервые в жизни пользуюсь леской из синтетики, а не скрученной из конского хвоста — сплошные узлы! — не умею обращаться со спиннингом, зато веревочный перемет

и дорожка привычны, и «клевое место» от «пустоводья» я учую нутром.

Я не спеша греб, стараясь обходить заросшие водорослями отмели, но и не удаляясь от них, проходя по тому рубежу, где рыщет рыба. Клацали уключины, налетал ветерок, рябил воду и почему-то нес с берега запахи свежего сена, хотя сенокосы давно уже кончились. И суетилась в кустах, пересвистывалась птичья мелочь. Майя неожиданно запела тоненьким голоском, счастливо жмурясь на солнышко:

Я помню время-а золотое...

Свистеть и петь на рыбалке — непростительное легкомыслие, по рыбацкой примете — верная неудача. И я сурово прикрикнул на Майю:

— Эй-эй! Рыба песен не терпит!

— Фи! — с сердитой гримаской. — Дышать не даешь в последние дни! — Но сразу же споткнулась, уставилась на меня круглыми, влажно-смородиновыми глазами. — Что-то дернуло... — шепотом.

Я сделал пару гребков.

— А теперь?

— Теперь ничего...

— Наверное, за траву зацепилось.

— Вот опять потянуло...

— Сматывай! — приказал я. — Раз блесна схватила траву, таскать ее с бородой смысла нет.

Она, мурлыкая «Я помню, помню время золотое...», принялась наматывать леску на шпакетину. Я греб и дышал полной грудью, с наслаждением озирался: плоты кувшиночных листьев, черные зеркальца свободной воды в них, горящие звездочки цветов, старые ивы, полощущие свои ветви, — затягивающая душу полуденная дрема. Ничего не было! Не видел чужого лица Майи, не слышал ее чужого голоса.

— «Я помню, помню время-а». — Чуть слышное мурлыканье и сдавленный ужасом выкрик: — Ой! Там что-то есть!

Я бросил весла и ринулся к корме.

Щуренок, черный, с зеленым отливом и золотым выкаченным глазом. По старой привычке я сломал ему загривок и почувствовал на себе взгляд Майи — в расплывшихся зрачках неприязнь, брезгливо замороженные губы.

— Что смотришь? Зверь?..

Она поежилась и не ответила. Я рассмеялся.

— Охотник, Майка. А это добыча...

— А без жестокости нельзя?

— Лучше, по-твоему, чтоб щуренок умирал, медленно задыхаясь? Или не лови, или уж согласишься на охотничью жестокость.

— Жестокость... — повторила она и поежилась.

— Может, не станем рыбалить? А?

Отвела от меня взгляд, взяла в руки щуренка, провела пальцами по темной скользкой спине.

— Бедненький...

Я знал ее характер — девичья жалостливость не помещает страсти. А рыбацкая страсть нешуточна.

Щука мечет икру ранней весной, в пору ледоходов. Но в течение лета на нее полосами находит прожорливость — становится беспокойной, неутоlimо мечется в поисках жертвы, жадно хватает наживу, садится на крючки. Полоса прожорливости проходит, и щука становится бездеятельно-ленивой, опускается на глубину, на блесну тогда чаще цепляются окуни. Мы счастливо попали на «щучий жор».

Если нам удавалось провести блесну, не зацепив за траву, то почти всегда жилка вздрагивала и натягивалась, я кидался на помощь Майе, начиналась самозабвенная борьба с сильной, жаждущей свободы рыбой. Тупые толчки из глубины, обмирает и срывается в галоп сердце, едкий пот заливает глаза. У меня не было подсачника, а потому нужна особая сноровка, чтоб перекинуть увесистую щуку через борт, чуть замешкайся, и она нырнет под лодочное дно — прощайся, уйдет. Должно быть, от своих пращуров-древлян, лесных и речных добытчиков, я унаследовал охотничье чутье, помогавшее бессознательно угадывать, какую рыбу вырвать с ходу, какую следует «выгулять». Одним я не давал даже всплеснуть, метр за метром гнал лесу, выхватывал из воды, и эти жертвы, вытянутые, глянцеватые, сохраняющие и в полете свою щучью стремительность, приходили в себя только на дне лодки, начинали неистово метаться, обдавая нас брызгами. Мы с Майей кидались умирать, стучались головами, мешали друг другу, а лодка рискованно — вот-вот черпанет! — раскачивалась посреди озера. Других же, строптивых, я подводил не сразу, то отпускал, то подтягивал, снова давал жалкую свободу — изматывал — и лишь после этого решительно тянул к борту.

Уже с третьей удачи Майя наловчилась схватывать добычу быстрее меня — мои руки были еще заняты деской, — вцеплялась крашенными ногтями в щучий загривок, стара-

лась сломать хребет, и на лице ее появлялось выражение остро-стремительное, хищное, как у ласки.

Пять щук, считая первенца, щуренка-недоростка, — все озерно-темные, глухо-крапчатые! Одну я особенно долго вываживал, все не осмеливался перевалить через борт — не столько длинная, сколько массивная, и едва ли не треть всего плотного тела состояла из чудовищной головы, сплошные челюсти с застывшими глазами. Желтая злоба таилась в глазах даже тогда, когда щука уже уснула. Могучий ее загрибок заломать не смог и я.

5

Сосновый лес сбегал с откоса и недоуменно останавливался перед нешироким выглаженным пляжем. Почему-то никто из туристов-дикарей (а их немало плавало по озеру) не облюбовал это место, мы впервые проложили следы босых ног по слежавшемуся песку.

Я соорудил шалаш, не слишком просторный, но добротный, щедро, во много слоев укрытый лапником, — от ливня, может, и не спасет, но обычный дождь в нем не страшен. Пол шалаша я тоже выстлал лапником, а сверху набросал мох, собранный с мест, где рос толоконник — растение, обманчиво похожее на бруснику. Там, где оно растет, мох не влажен и не ломок, шелковист. Узкий лаз вместо двери вел в берложий мрак.

— Вот наш дом!

Майя восторженно его оценила:

— Вилла!

Я собрал все старые газеты, какие нашлись у нас в вещмешке, обернул выпотрошенных щук, намочил в озере и законал в горячие угли костра. Немногие знают об этом кулипарном приеме. Мясо такой запеченной рыбы сочно и нежно, хранит все речные запахи.

Так оно и получилось: у запеченных мною щук главным образом преобладал озерно-пресный аромат — я забыл подсолить рыбу. Пришлось присаливать по ходу дела, ели руками, потому что ни ложек, ни вилок у нас, увы, не оказалось, был только большой складной охотничий нож, предусмотрительно купленный мною в Москве. Но он слишком страшен на вид, чтоб пользоваться для еды — зарежешься.

— В жизни ничего вкуснее не ела...

Все-таки нетрудно заслужить Майкину благодарность.

Мы покончили с рыбой, я подбросил дров в костер, а тем временем наступила ночь.

Вот оно... Где-то рядом, в другом запредельном мире стоял лес, где-то в озере всплескивала разгулявшаяся рыба, где-то далеко, на том берегу, надсадно кричал коростель. У Майки освещенное костром лицо накаленно бронзово и неестественно громадные глаза на нем. В них, как выплеснутая луна в застывших омутах, два шевелящихся огонька.

Отрывочные слова, которые мы роняли, не связывались во фразы. Нет, скупы на слова не от лени, просто каждый звук был и так переполнен сокровенным смыслом.

— Казню себя... — тихо произнесла она.

— За что?

— За вздорность.

— Хм!..

— Накажи меня...

— Нет нужды...

— Казнишь же сама...

— Разве?..

— И то верно — сама себя раба бьет...

И пауза, заполненная хвойным лесным шумом и плеском рыбы с озера, длинная пауза, говорящая больше, чем выстраданная исповедь. И покаянность, и всепрощение в минутах молчания.

— Смотри, Луна!

— Да, Луна...

Луна — единственная из внешнего мира, осмеливающаяся заглянуть к нам. И она сразу же стала частью нас. Ни я, ни Майка не упоминаем больше о ней, но думаем об одном — о другом лунном вечере. Луна тогда вела себя странно. Луна объединила нас. Верный друг, навестивший сейчас.

Не отрывая разверстых на огонь глаз, покойных и безумных одновременно, Майка качнула волосами.

— Не хочу...

— Чего?

— Рассвета.

— Будешь рада ему.

— Без конца так сидеть, стать каменной бабой.

— Мне придется стать каменным истуканом.

Она встряхнулась, спугнув с лица пляшущие тени, и засмеялась.

— Ты прав, пусть наступит рассвет!

— До него еще далеко, мы успеем выспаться.